



**Дружба
народов**

3/2022



В номере:

В сторону счастья

В романе Болота ШИРИБАЗАРОВА «Драгоценный» все мечтают о счастье, но у каждого свое представление о нем. Алексей, полукровка, не русский и не бурят, везде чужой, его жизнь не задалась с самого детства. Обделенный любовью близких, он ищет себя и свою дорогу среди людей и приходит за помощью в дацан, где ему открываются не только буддийские практики, но и трудовая жизнь послушников, их сложные отношения с наставниками. Станный мальчик Саян рассказал Алексею про страну счастья: «Вокруг этой страны бесконечный океан... Точнее, все так думают, что он бесконечный. За этим океаном есть Чистые земли... В самом сердце Чистых земель есть озеро, вода из которого дарует бессмертие. Об этом озере якобы рассказал единственный, кто вернулся из этих земель. Это был человек, но не простой, а тот, кого высшие боги называли Драгоценным».

«Здесь, на земле, в кругу семьи»

Семейные саги, семейные отношения — волнующая и востребованная тема и прозы, и поэзии. Семейный круг, дом, деревня, город, родина — и везде «Женщина выйдет, проста и строга, / взгляд материнский, весёлый, / вынесет хлеба мне и молока...» — уверена Катя КАПОВИЧ. Питерскому поэту Алексею КОМАРЕВЦЕВУ известен сюжет семейных будней — «тебя мечтают лишь дожидаться / поскорей — и больше ничего». А у Григория КНЯЗЕВА другой запрос: «Где же вы, кто же вы, предки мои? / В мифах, легендах, преданьях старинных... / Летопись рода, поэма семьи / Пишется вскользь на имперских руинах». Для Наталии ЕЛИЗАРОВОЙ семья и дом — вся Россия: «Вмести Россию между строчками, / во все глаза в неё смотри».

Что случилось с Америкой

Страна как будто сошла с ума и на потеху авторитарным режимам мира сего занимается самобичеванием: сражается с памятниками, оплевывает свою историю, объявляет, что поражена структурным и институциональным расизмом. Свой взгляд на подобное наблюдение развивает живущий в стране журналист и политический комментатор Дэн ДЕЛЬТМАН.

«Ветер взлётный»

«Вначале мы удивлялись, что сборники современных поэтов кто-то покупает. Потом — что магазины (хотя никто не покупает) всё же берут их на реализацию. Теперь осталось только одно удивление — что поэтические сборники (хотя и магазины уже почти не принимают) еще издают. И немало». Для своего традиционного ежегодного обзора Евгений АБДУЛЛАЕВ отобрал девять вышедших в 2021 году сборников стихов, убедительно доказывающих скептикам, что поэзия жива. И, значит, жива надежда, что книги найдут своего читателя и птица Поэзия взлетит.

Дружба народов



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

*Основан
в марте 1939 года*

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.01.2022.
Подписано в печать 28.02.2022.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 1433. Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Ольга
БРЕЙНИНГЕР
Ирина
ДОРНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА
Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА
Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Ольга
БАЛЛА
Дмитрий
БИРМАН
Денис
ГУЦКО
Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА
Фарид
НАГИМ
Илья
ОДЕГОВ
Валерия
ПУСТОВАЯ
Кнут
СКУЕНИЕКС
Сергей
ФИЛАТОВ
Ренат
ХАРИС
Александр
ЧАНЦЕВ
Вячеслав
ШАПОВАЛОВ
ЭЛЬЧИН

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Катя КАПОВИЧ. Пишет русский язык. <i>Стихи</i>	3
Болот ШИРИБАЗАРОВ. Драгоценный. <i>Роман</i>	6
Григорий КНЯЗЕВ. Здесь, на земле, в кругу семьи. <i>Стихи</i>	130
Александр МЕЛИХОВ. Гриф и мамонт. <i>Повесть</i>	133
Наталья ЕЛИЗАРОВА. Все дороги ведут к Оке. <i>Стихи</i>	173
Валерий АЙРАПЕТЯН. Атезолизумаб. <i>Рассказ</i>	175
Алексей КОМАРЕВЦЕВ. Очень петербургский, городской. <i>Стихи</i>	185
Елена СКУЛЬСКАЯ. Рассказы	188
Анастасия АТАЯН. Кто приносит дожди. <i>Рассказ</i>	196
Евгений ОРЛОВ. И трава и любовь песок. <i>Стихи</i>	200

ПРОЗА. ДОС

Наталья РАПОПОРТ. Вакка. <i>Фрагменты будущей книги</i>	204
---	------------

ПУБЛИЦИСТИКА

Дэн ДЕЛЬТМАН. «И вновь продолжается бой»... но уже в Америке	227
--	------------

КРИТИКА

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Полуторакрылая птица. <i>Девять поэтических сборников 2021 года</i>	237
--	------------

NON-FICTION PRO

Александр ЧАНЦЕВ. Энтузиаст, эмансипе и низвергатель	251
--	------------

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. Человек прояснённый (Г.Шульпяков «Белый человек: избранные стихотворения»)	263
---	------------

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. И вечная «оттепель»	267
---	------------

Summary	272
----------------------	------------

Катя Капович

Пишет русский язык

* * *

Время придёт, попрошусь на постой,
как стрекоза — в муравейник,
в город над цинковой серой водой,
где меня примут без денег.

Женщина выйдет, проста и строга,
взгляд материнский, весёлый,
вынесет хлеба мне и молока,
совести стихнут уколы.

Стихнет с отчизной бессмысленный спор,
солнце над крышами вспыхнет,
стихнет с собою пустой разговор,
только надежда не стихнет.

И на грядущие все времена
с жизнью играть будет в силе,
как в этом мире играет волна
с белым корабликом в сини.

* * *

Как бы славно жила наша бравая рать,
как за пазухою у Творца,
коль могла бы заставить язык щебетать,
щёлкать вроде дрозда и скворца.

Быстроклювую звукопись каждый пострел
как бы славно над смыслом вознёс.
Это то, чего Хлебников сильно хотел
и подслушивал стрёкот стрекоз.

Катя Капович — двуязычный поэт и прозаик, автор двенадцати книг на русском и английском языках, в т.ч. книги избранных стихов «Город неба» (М., «Эксмо», 2021). Лауреат многочисленных премий: Библиотеки Американского Конгресса (2001), Русской премии (2012 и 2014) и др. Живёт в Бостоне.

Это будет давно, и плеснёт по губам
станет пеной, оставит без сил.
И не это ли пробовал вновь Мандельштам,
и пустое стекло укусил.

Молодой звукоплёт, ты бы с радостью звук
извлекал до сухой немоты,
все приёмы бы знал, по стволу стук-постук,
что, по сути, и делаешь ты.

Но поэзия есть контрабандный товар,
на нешёлковом строгом пути!
Что ж, давай, баргузин, наворачивать вар
умной речи, свистящей в груди.

С расстановкой и с чувством развеивать мрак
ради райских садов золотых,
Элизийских полей, замедляющих шаг,
даже если ни тех, ни других.

* * *

Облака надо мной, облака на
небесах. Выхожу из тумана.
Шестьдесят мне, а было сперва
десять лет, и каникулы в школе,
чёрный велик, черешня в подоле,
и ещё не болит голова.

На весёлую дату «семнадцать»
будет поезд суставами клацать,
пахнуть чаем плацкартный вагон,
на окне занавески из ситца,
и бельё принесёт проводница,
утром встанет Урал за окном.

Жить бы жить на Урале годами,
облака там проходят гуртами,
дешевы там еда и питьё,
от Свердловска к Тагилу поедешь,
расстоянье на скорость поделишь,
и получится время твоё.

Славно было по юности это:
Три семёрки, друзья, сигареты
Стюардесса, Родопи, БТ,
Надо много и долго учиться,
а потом долететь до столицы,
повзрослеть, протрезветь и т.д.

Напечатать стихи в самиздате,
на допросы ходить. Если, кстати,
тебя спросит товарищ впритык:
«Что за сволочь стихи эти пишет?»
Почему в них недоброе дышит?» —
отвечай: «Пишет русский язык».

* * *

Всё верно. Чуть застенчивый смешок,
над верхнею губой густой пушок,
и медленные танцы-обжиманцы,
когда, убравши прядь волос с лица
(пусть музыка там продолжается),
ты начал неумело целоваться.

Там комната была малым-мала,
чтоб так соединить наши тела,
вальсируя ладошкой к ладошке.
Ты бормотал пустое «извини»;
там были мы смешны со стороны,
и ты мне наступал на босоножки.

И как потом всю ночь стояла ночь,
и одеяло убегало прочь,
и что-то батарея в нос бубнила,
что, может быть, любовь она и есть —
нелепый танец в комнате без мест,
где нам хозяйка за полночь стелила.

Найти б тот дом, где узкая кровать,
где зимних тополей чернеет рать,
и в сумерках смотреть кино такое:
густой пушок над верхнею губой
и характерный твой смешок сухой
услышать, наклоняясь над тобою.

* * *

Прозрачный мотылёк в двойном стекле, до тоненького пеня комара,
где действует решительный мороз, и молодую кровь сдадим ему.
давай мы доживём при зимней мгле
до тёплых дней, до миллиона роз.

До лучших дней, до стука топора Я и сама живу таким питьём,
в соседнем недостроенном доме, кровинкой бытия с твоей руки
как только в зимнем доме мотыльки.

* * *

Запомни снежные заносы
в малоприветном городке,
сосулек ледяные косы,
дыхание накоротке.
Когда луна гребёт карнизом
над улицей, где ни души,
каким тогда большим сюрпризом
явление такси в глуши.
С початою бутылкой виски
в него садимся на углу.
Как две смешные фигуристки,
елозят щётки по стеклу.
И сразу, сразу к высшей цели
летим к себе большой зимой,
и там согрей меня в постели
в такую ночь, любимый мой.

Болот Ширибазаров

Драгоценный

Роман

Пролог

Ширап Санаев начинал свой путь как случайный и долгое время нелюбимый ученик Содой ламы, самого титулованного целителя и авторитетного педагога курса тибетской медицины в Цугольском дацане. Содой лама всегда отказывал таким, как Ширап. Но именно Ширапу он отказать не смог, хоть и невзлюбил его с первого взгляда.

С каждым поступавшим на его курс и его родителями Содой лама общался лично. Ширап Санаев пришёл без родителей.

— Что это? — спросил Содой лама, кивнув на стопку шкурок тарбагана, лежавших у его ног.

— Это моё подношение! — ответил мальчик. — У меня больше ничего нет.

Окинув безучастным взглядом бедно одетого подростка, Содой лама прикинул в уме, во сколько ему обойдётся его содержание: как много, а главное, как скоро тот сможет возместить ему все расходы. Он уже открыл было рот, чтобы прочитать пареньку занудное нравоучение о законе кармы, как вдруг тот опустился на колени.

— Я буду служить вам! — решительно сказал Ширап.

— Все мои ученики мне служат, — холодно ответил Содой лама.

— Я буду служить вам так, что вы будете гордиться мной! — настаивал подросток.

— Гордиться?

Обычно такие оборванцы старались вызвать в душе Содой ламы чувство жалости. Но подобные попытки вызывали лишь досаду и усталость. На его курсе не было бедняков, потому что бедняки не могли позволить себе недешёвое содержание в дацане и продолжить учиться в Монголии или Тибете.

Однако этот настырный юнец всем своим видом вызывал в душе Содой ламы скорее тревогу, чем неприязнь. Он напомнил ему того юношу, что каким-то чудом однажды повстречал в степи самого Ойдопа багшу и по его рекомендации отучился пять лет при Цугольском дацане, а затем отправился на учёбу в Тибет, к Гьялшену Римпоче. Он вдруг напомнил ему... самого себя.

Ширибазаров Болот Баярович — прозаик, драматург. Родился в 1977 году в Иркутске. Выпускник Екатеринбургского Государственного театрального института, мастерская Николая Коляды. Публиковался в журналах «Уральская новь», «Урал». Лауреат и финалист Международных конкурсов драматургов — «Евразия», «Новая драма», «Свободный театр». Живёт в Улан-Удэ. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— Хорошо, — неожиданно уступил Содой лама. — Я вижу, тебя некому содержать. А это значит, что ты не переживёшь будущей зимы. Я набираю учеников, а не дармоедов. Ты будешь мне служить, ты будешь делать всё, что я тебе скажу! Но это ещё не всё! Ты будешь учиться! Ты будешь делать всё, что я тебе скажу, и будешь учиться! Будешь плохо делать — буду сечь! Будешь плохо учиться — выгоню с позором!

Так Ширап Санаев стал учеником самого Содоя ламы. Он жил в большом доме своего учителя, срубленном из вековой лиственницы богатым купцом, которого Содой лама вылечил от мужского бессилия. Ширап спал, подобно собаке, у печи на войлочном коврик. Он ложился поздно вечером, когда засыпал Содой лама, и вставал за час до того, как просыпался Содой лама, топил печь, кипятил воду, заваривал кирпичный чай и готовил завтрак: цампу — кашу из обжаренной ячменной муки, — сваренную на молоке с топлёным маслом, менял лампадки и подношения на алтаре.

Питался Ширап тем, что оставалось после трапезы Содоя ламы: остатками зелёного чая без молока и горсткой обжаренной ячменной муки. Выполнив утренние обязанности, Ширап сидел на лекциях, вникая в каждое слово педагогов, старательно выводя слогги тибетской грамоты. Так Ширап ещё и спасался от мучительного чувства голода и ещё более мучительного желания поспать. Из подушки, на которой он сидел во время занятий, торчал ржавый гвоздь, на который он натёкался, стоило ему задремать. Все колени Ширапа превратились в сплошную рану, но любая, даже самая монотонная лекция, шла ему впрок.

В обеденное время Ширап бежал на кухню и снимал с печи кастрюлю с бульоном. Стоило Ширапу недодварить или переварить бульон, и Содой лама оставался без обеда, а Ширапа наказывали: секли толстым ивовым прутом.

Ел Ширап два раза в день, поскольку два раза в день ел Содой лама. Учитель уже много лет держал обет: ел только до полудня, и Ширап волей-неволей разделял обет со своим учителем. Однажды Ширап не выдержал и положил в рот старую конфету с алтаря. Позади него уже стоял Содой лама с толстым ивовым прутом в руке.

Содой лама считался лучшим эмчи ламой Цугольского дацана. Среди его паствы ходила легенда о том, как однажды он вылечил одного пастуха от острого аппендицита: сделал надрез внизу живота, просунул в надрез рог яка и сцедил содержимое аппендикса, а затем прописал пастуху пилюли, благодаря которым тот окончательно исцелился. По другой легенде, Содой лама излечил кого-то из членов царской семьи, пересадив тому лёгкие молодого волка. Правда, ничего такого при нём учитель не делал.

Всё, что видел изо дня в день Ширап, прислуживая Содой ламе, это как его учитель лечит местную знать от головных болей и всевозможных расстройств, от женского бесплодия и мужского бессилия. В борьбе с этими недугами Содой ламе действительно не было равных. Ширап всем сердцем желал увидеть хоть одно чудо-исцеление, а видел лишь сытые, постные, безразличные ко всему лица богачей. Но любые сомнения Ширап тут же гнал, ибо понимал, что получить нужные знания он мог только на курсе у Содоя ламы.

Усердие Ширапа начало приносить свои плоды с наступлением первых холодов. Однажды утром он еле проснулся оттого, что, свернувшись клубочком, не чувствовал привычного холода. Оторвав голову от коврика, он ощутил на себе что-то тёплое, меховое... Это был почти новый дэгэл из хорошо выделанной овчины. Рядом лежали меховая шапка, стёганые штаны и гутулы из грубой кожи.

Однокурсники Ширапа относились к нему так, будто он был прислугой для всего курса. Иногда Ширап выполнял поручения некоторых сокурсников, чтобы получить на обед кусок лепёшки или холодной — в комочках застывшего жира — баранины.

Содой лама стал поручать Ширапу отбор компонентов для лекарств: травы, коренья, минералы, порошки из драгоценных металлов и даже кости древних животных. Однажды Содой лама позволил Ширапу войти в свою мастерскую, куда могли входить лишь избранные его ученики.

Взяв с полки человеческий череп, Содой лама положил его в специально оборудованный очаг, развёл огонь и показал Ширапу, как поддерживать пламя, раздувая меха. Череп вскоре раскалился докрасна, а затем побелел. Прихватив щипцами, Содой лама положил его на керамическое блюдо посреди большого стола. Остывший череп развалился на кусочки, которые Содой лама уложил в чашу из серебра. На следующее утро он велел Ширапу истолочь их в мельчайший порошок. Ширап истолок в пыль. Но Содой лама остался недоволен его работой и велел толочь снова и снова, пока порошок не стал совсем воздушным. Содой лама аккуратно ссыпал его в серебряный сосуд и затем добавлял его в лекарство от головных болей.

С наступлением лета ученики Содоя ламы разъехались на каникулы, но Ширапу ехать было некуда, и всё лето он прислуживал своему учителю, помогая в сборе трав и изготовлении лекарств. Содой лама собирал особые травы в особых местах, пробуя их на вкус, выбирая несколько лепестков с одного куста. К каждому такому кусту Содой лама приходил лишь раз в год.

Собрав травы, Содой лама сушил их по-особенному, учитывая даже лучи солнца, падавшие на связки трав, силу и направление сквозняков. Проезжие купцы поставляли Содою ламе кости древних животных и минералы. Каждый компонент монах долго нюхал, пробовал на вкус, разглядывал против солнца...

На шестом году обучения Ширап стал лучшим учеником Содоя ламы. Он успешно лечил людей, изготавливал лекарства по рецептуре, что задавал ему учитель, и очень умело подбирал компоненты для этих лекарств. Содой лама уже без опасений доверял ему закупки, мог позволить себе не проверять качество приобретённого им сырья. Это было очень своевременно, поскольку здоровье Содоя ламы неуклонно ухудшалось. Он быстро, даже стремительно старел, и ни один из его учеников не мог помочь ему остановить старость.

Ширапу уже не было нужды прислуживать своим сокурсникам, чтобы получить кусок на обед: те сами несли ему щедрые подношения в надежде разузнать какой-нибудь секрет, в который Содой лама не пожелал их посвятить. Ширап отказывался от этих подношений, лишь окидывал их холодным взглядом и говорил, что не в силах объяснить им то, что может раскрыть только сама жизнь.

Ширап не заметил, как стал заносчивым, гордым и властолюбивым. Послушники относились к нему с глубочайшим уважением, почтительно называли багшой и панически его боялись. Как-то раз Ширап высек одного из хувариков за то, что тот плохо истолок компоненты для лекарства. Содою ламе в тот же вечер доложили об этом.

— Скажи мне, что это? — спросил Содой лама Ширапа, когда тот вошёл к нему в комнату и степенно уселся на подушки. В руке у Содоя ламы был золотой червонец.

— Деньги, — с достоинством ответил Ширап.

— Сядь поближе.

Ширап придвинулся к Содою ламе и заметил, что у ног учителя лежит ивовый прут, такой же, как тот, которым он когда-то его нещадно сёк.

— Повторяю: что это?

— Я не понимаю вашего вопроса, — честно ответил Ширап.

В душе он был даже рад получить от учителя благословение хоть и в виде порки, которой уже не было давно.

Содой лама взял прут, слегка откинулся назад и с силой хлестнул Ширапа по лицу. Коснувшись ладонью лица, Ширап ощутил проступившую липкую кровь.

— Что это? — снова просил Содой лама.

— Что с вами, учитель? — протонал Ширап.

Следующий удар перебил на его руке сразу два пальца. В глазах Содоя ламы Ширап не видел ни жалости, ни сострадания, ни гнева — лишь бездонную пустоту. Он понял, что учитель будет бить его до тех пор, пока он не даст правильного ответа.

Либо ответ, либо конец всей его многострадальной жизни. Учитель шёл на жертву, очевидно, ради него. Но чего именно хотел от него учитель?

— Что это? — вслед за вопросом без ответа последовал удар, и левый глаз Ширапа мгновенно оплыл.

Ум Ширапа принялся лихорадочно работать. Он вспомнил истории о суровых нравах в монастырях провинции Ладакх, где били палками умудрённых монахов за малейшее проявление гордыни, били до тех пор, пока к ним не приходило осознание...

«Здесь и сейчас, здесь и сейчас... — прокрутил в уме Ширап заветную мысль, что так часто спасала его на первых курсах обучения. — Что такое деньги? Для чего они нужны? Чтобы жить! А что есть жизнь? Или что её определяет? Три доши — ватта, питта и капха, или — ветер, желчь и слизь. Ветер, желчь и слизь — три ключевые жизненные энергии человека. Всё остальное в обыденной жизни — лишь производное этих энергий...»

— Это энергия! — ответил Ширап.

— Для чего она нужна? — спросил Содой лама.

— Чтобы приносить пользу!

— Что мешает нам быть полезными?

— Гордыня, гнев и зависть!

— Что порождает гордыню, гнев и зависть?

— Алчность!

— Что есть алчность?

— Заблуждение, мешающая эмоция!

— Почему это заблуждение?

— Потому что деньги — лишь порождение нашего ума!

Взгляд Содой ламы постепенно ожил. Отшвырнув прут, он молча поднялся со своего трона и ушёл к себе в спальню.

В тот же вечер Ширап отыскал побитого послушника. Им оказался сын бедняка, принятый Содой ламой на курс, как когда-то и сам Ширап. Юный послушник прислуживал одному из лам и спал у него в прихожей, у печки, на войлочном коврикe.

Разбудив послушника, Ширап увёл его в дом и уложил на свою постель. Сам же лёг у печи, на войлочном коврикe. Ночью поднимался со своего ложа и поправлял одеяло, заботливо укрывая им юного хуvaraка. Мальчик бормотал, вздрагивал, всхлипывал, переживая что-то даже во сне.

— Скажи мне, сынок, чего ты хочешь от этой жизни? — спросил Ширапа Содой лама после того, как тот прошёл полный курс обучения. Его рано выцветшие бледно-голубые глаза смотрели на Ширапа с отеческой нежностью. Ширап впервые за всю свою жизнь ощутил на себе такой взгляд, полный искренней любви и сострадания.

— Я хочу совершенства, — не задумываясь ответил Ширап. — Моя жизнь началась с больших страданий, мои родители умерли от оспы, когда мне было три года. С пяти лет я был вынужден прислуживать, чтобы не умереть с голоду. И в пять лет я стал задумываться, почему в этой жизни так много страданий. Я присматривался к тем, кому прислуживал, и не видел, чтобы они были счастливы. Все, кого я видел, страдали и чего-то боялись. Так я решил найти то, что позволит мне больше не бояться страданий, и услышал легенду о великом йогине. Это был Ойдоп багша. Я долго искал Ойдопа багшу и вскоре узнал, что он ушёл в паломничество в Тибет и вернётся оттуда только через семь лет. Я не мог ждать так долго и потому пришёл к вам, учитель.

— Я не смогу дать тебе того, что ты хочешь, — признался Содой лама, — потому что не я был твоим учителем. Зато ты очень многому научил меня! Когда ты плакал ночами на своём коврикe, я плакал вместе с тобой. До этого я мучился бессонницей, но, когда моя подушка намокала от слёз, я засыпал как младенец. Моё сердце разрывалось, когда я видел, как ты, забившись в угол, поедал подачки от своих сокурсников. Я страдал вместе с тобой, когда видел, как ты вздрагиваешь от боли,

Григорий Князев

Здесь, на земле, в кругу семьи

* * *

Родины малой пустое дупло...
Что мне Сморгонь или Верхняя Слудка?
Но почему-то на сердце тепло,
Если в названия вслушаться чутко.

Жили когда-то здесь мера и чужь —
Скулы широкие, светлые брови...
Я же на вас не похожий ничуть —
Лица, характеры ваши суровой.

Пыльного зеркала мутный овал
В старом шкафу отражает посуду,
В доме у предков, где я не бывал
И никогда уже точно не буду.

Запах почудится отчей земли —
Столько в нём горечи и ностальгии!
Дом родовой, не жалея, снесли.
Место чужое, и люди другие.

Где же вы, кто же вы, предки мои? —
В мифах, легендах, преданьях старинных...
Летопись рода, поэма семьи
Пишется вскользь на имперских руинах.

Память, как хлебная корка, черства,
Не избежать мне такого же тлена.
Я как Иван, что не помнит родства, —
Лишь имена до шестого колена...

* * *

Что знаю о себе, и надо ли,
 Две бездны — жизнь и смерть — тая,
 Куда слова и сны попадали,
 Встречаться мне с моим же «я»?

Родился, рос и умер — схемою
 Звучит, а фактов — громадьё.
 Натуру, личность, душу где мою
 Найду, как отличи её

От голоса чужого, прочего,
 Точней — от хора голосов?
 От материнского и отчего
 Бежим — и сердце на засов.

Но вот гуляю на природе я —
 И льётся в мой канал ушной,

Как жалоба — одна мелодия,
 А следом — как рассказ смешной...

Стишки под нос себе я тинькаю —
 Не Окуджава и не Блок...
 Звучит кассетой ли, пластинкою
 Мой музыкальный монолог.

Великая разноголосица —
 То нет меня, то полный дом!
 Что как к чему во мне относится
 Порой понять могу с трудом...

Касаясь своего предплечья,
 Свои же кудри теребя,
 Что если никогда не встречу я
 И не услышу сам себя?

* * *

Природа — тиха, только ветер в полях
 Над светлою этой парит тишиною.
 Задумчивый вереск забыл о шмелях.
 Тут, в ближнем лесу, дремлет царство грибное.

Молчать и молчать заповедным местам —
 Молчаньем таинственным, а не лукавым...
 Прислушайся к сонным осенним цветам,
 К растущим грибам, к чуть желтеющим травам —

Услышишь дыханье ли, шёпот земли.
 Так тихо, что лёгкая в сердце тревога.
 Там, где-то в далёкой-далёкой дали,
 Асфальтная что-то бормочет дорога...

На камне прогреетом на век бы уснул,
 Впадая, как солнечный август, в истому,
 Когда бы не трассы рокочущий гул,
 Ведущей к огромному шумному дому...

Баллада о Кировском вокзале

Там, где-то в тундре ледяной,
 Стоит вокзал-дворец. Но рельсы
 Его обходят стороной...
 Промёрз, как целый век не грелся.

Изгоя на краю земли,
 На почве, как эпоха, жёсткой,
 Когда-то эски возвели,
 Снег стены выбелил извёсткой.

Без пассажиров, вне дорог,
Разросшихся огромной сетью,
Сам вечный отбывает срок —
Суровый памятник столетью...

Вокзалу снятся поезда —
Никто, никто сюда не едет!
И лишь Полярная звезда
В его пустые окна светит...

* * *

Здесь, на земле, в кругу семьи,
Как будто бы со мной навеки
Друзья и близкие мои, —
Я в тёплом мире их опеки.

Но там, за крайнюю чертой, —
Вокзал ли, госпиталь огромный...
Душа вдруг станет сиротой
Меж душ чужих, в семье приёмной.

И чем привычней дом земной
С его укладом, с мамой рядом,
За много лет обжитый мной,
Тем рай печальней с вечным садом...

Пока ещё в земном дому —
Помилуй нас за прегрешенья! —
Как на прощанье, обниму
Родных, мне данных в утешенье.

* * *

В доме, пахнущем небытиём,
Без детей — безысходно и глухо.
Одинокую старость вдвоём
Коротают старик и старуха...

Так и вижу себя и тебя
В этих двух, постаревших до срока,
Безнадёжно и нежно любя
Жизнь, что есть, — ни горчинки упрёка!..

Не моя в том, не Божья вина,
Что не выйти из тесного круга.
Нам любовь во смиренье дана —
Чтоб остаться детьми друг для друга.

Александр Мелихов

Гриф и мамонт

Повесть

Междугородный вызов засвиристел как обычный, но остатками ясновидческого дара я сразу угадал, что звонит из Екатеринбурга моя бывшая невенчанная. Как всегда, без сантиментов типа «здрасьте, как жизнь?». Сразу берёт быка за рога, а рогами она меня покрыла сверху донизу, как противокорабельную мину. Голос по-прежнему надменный с прорывами плотоядных ноток, когда появляется возможность произнести что-то оскорбительное:

— Вам там тоже мозги промывают этим коронавирусом?

— Как везде, я думаю.

— И ты веришь, что нашу власть волнует наше здоровье?

— Я думаю, ей спокойней, когда мы здоровы.

— Ошибаешься, ей выгодно переключить наше внимание на что угодно, только бы отвлечь от её преступлений. Ты, может быть, и намордник носишь?

— В смысле маску? Ну, в общественных местах...

— Если вас начнут вешать, вы и верёвки сами принесёте. Ты как был конформист и ватник, так и остался, — в голосе звучит блаженная сытость.

— Ты забыла: я ещё и путиноид, — этот сарказм я всё-таки проглатываю, чтобы она не бросила трубку, а мне хочется спросить про сына, хоть я и знаю, что ни к чему хорошему это не приведёт.

— Подожди, не бросай трубку! Как там...

Мне хочется сказать ласково: Андрюшка, но она оборвёт — давай без сюсюканий. И я завершаю нейтрально: Андрей.

— Пожалуйста, не делай вид, что тебя это интересует, — слышно, как она облизывается от удовольствия.

Связь прервана. Как всегда, ни здравствуйте, ни до свидания.

Но материнское сердце не выдержало упущенной возможности ещё раз меня уязвить — тут же повторное свиристенье.

— Как всё-таки хорошо, что я не позволила тебе его уродовать! Он политический активист, не пропускает ни одного митинга. Уже четыре раза арестовывался. Может, он всё-таки не твой сын? Но вроде бы я в тот месяц ни с кем больше не совокуплялась.

Мелихов Александр Мотелевич — прозаик, публицист, литературный критик. Родился в городе Россошь Воронежской области. Окончил математико-механический факультет Ленинградского университета, работал в НИИ прикладной математики при ЛГУ. Лауреат ряда литературных премий. Живёт в Санкт-Петербурге. Постоянный автор «Дружбы народов».

Она у меня утончённая, грубых слов не употребляет.

— Он бы лучше учился...

— Это для тебя важнее всего карьера. И комфорт. А у нас на Урале никогда не было крепостного права.

Врёт, поди, судя по Бажову, но проверять неохота.

Снова отключилась, хорошо бы навсегда.

Но нет, так легко не отделаюсь — опять свиристит. Я холоден как лёд, — не дамся, не откроюсь.

— Привет, это Феликс.

Тоже без сантиментов, будто вчера расстались. Но я не умею не радоваться давним знакомым, — лёд в груди мгновенно превратился в тёплый пар.

— О, привет, привет! Ты из Англии?

— Душой мы все в совке, из него эмигрировать невозможно.

— Но ты же работаешь на...

Я не решился назвать ужасно передовую радиостанцию, опасаясь перевернуть её громкое имя, а Феликса всегда раздражало, что я не в силах запомнить то, что должно знать всё прогрессивное человечество.

— Я там давно не работаю. Там надо быть лизоблюдом, а мне этого и в совке хватило.

— Но там же все нонконформисты?..

— Можно быть нонконформистом по отношению к своему начальству и лизоблюдом по отношению к чужому.

— Ясно, ясно... А как твоя жена к этому?..

— Только шашка казаку жена, как поёт ваш главный казак Розенбаум. Я развёлся.

— У тебя же вроде бы ещё и дочка была?

— Да, так успешно ассимилировалась, что мой интерес к вашим делам называет инфантильным стремлением вернуться в национальную матку. Но это скучно, я к тебе по делу. Это правда, что у вас Алтайскому собираются ставить памятник? Что чуть ли не конкурс уже объявлен?

— Правда. Моя нынешняя... — я хотел сказать «жена», но мы не были женаты, а слово «подруга» показалось несколько обидным для моей любимицы, и я сказал: муза. — Моя нынешняя муза даже участвует в этом конкурсе.

— А ты ещё служишь музам?

— Не могу найти другого хобби.

— Да, те, кто на это подсел... Алтайский же до своих тициановых лет продолжал что-то высасывать из пальца. Новый режим не нуждался в его услугах, так можно стало расслабиться, пуститься в лирику.

— Да нет, новый режим его тоже почитал. В Кремль приглашали, девяностолетие отмечали в Таврическом...

— Алтайский им был нужен как символ преемственности с совком. А воспитывать новых энтузиастов им ни к чему, от них один геморрой. Нас же с тобой Алтайский завлёл в инженеры, а какие из нас инженеры?

Я промолчал: мне казалось, что из меня инженер вышел всё-таки получше, чем из него. Всё ж таки я работал в цеху, а не придурился в охране труда.

Кажется, Феликс почувствовал моё несогласие и добавил, что фрезерный станок с ЧПУ в свободном мире он освоил всё-таки быстрее, чем его коллеги из Ирака и Уганды.

— Следующая моя книга будет про Алтайского. Алтайский как зеркало — пока не решил, чего. Разумного конформизма или подпольного технократизма. А пока у меня только что вышла книга про ваш курятник.

Курятником Феликс давно называл наш «Дом на канаве», он же «писательский недоскрёб». Сталин, разъясняя Феликс, собирал писателей в курятники, чтобы они там несли яйца под присмотром, кому сыпануть полбу, а кому шибануть по лбу. Или вовсе оттяпать башку.

— О, поздравляю! А где можно почитать?

— Для тебя могу экземплярчик оторвать от сердца. Если интересно, подходи через час в Публичку, только ровно через час, я ждать не буду.

Интересно, в моей жизни Феликс и бывшая невенчанная появились вместе — и воскресли из небытия тоже вместе. Каким мне тогда показалось бы чудом знакомство с ними, — таких всезнающих и всепонимающих я ещё не видел, — если бы всё не заслонила встреча с Алтайским. Разве это не чудо: ты вышел подышать уличной духотой, отдышаться от холода одиночества и заброшенности, и вдруг встречаешь человека, чьими книгами ты одурманивался с бессознательных лет!

В заводском парткабинете на книжных фотографиях Алтайский выглядел усталым производственником вроде моего отца: та же «непокорная прядь», та же простонародная курносинка. А здесь из чёрной «Волги» выходил седовласый британский лорд с тростью — эбенового дерева, хочется мне сказать, поскольку этого дерева я никогда не видел, но вот изящно изогнутая рукоять точно была бронзовой.

Алтайский был в чём-то лёгком и летнем, но явно не нашенском, и я невольно с почтением ему поклонился, не сообразив, что он то меня не знает. Алтайский, однако, кивнул в ответ с неспешной любезностью британского лорда, какими их изображали в советских фильмах, — видно, привык, что с ним здороваются незнакомые.

Это был не старичок с палочкой, а патриарх, величественно опирающийся на трость. Тогда я, правда, ещё не освоил слово «патриарх», просто как замороженный чуть ли не на цыпочках последовал за ним сначала по скучному коридору, затем по роскошнейшей мраморной лестнице, Алтайский свернул в ихний секретариат, и мне пришлось снова начать тоскливые блуждания по гостиным писательского дворца, заполненного начинающей плотвой вроде меня.

Роскошные бронзы, мраморы, мозаики, витражи особенно беспощадно подчёркивали нашу плебейскую суть. Новое взятие Зимнего...

Я старался не смотреть по сторонам, чтобы случайно не встретить знакомого. «В писатели лезет» — что может быть постыднее! Кажется, и все там избегали смотреть друг на друга, словно добропорядочные господа, по слабости завернувшие в публичный дом. И всё-таки одиночество, заброшенность были ещё более мучительными. Я принялся исподволь посылать туда-сюда искательные взгляды, но они отскакивали от чужой холодности, нанося мне невидимые миру ушибы. Наконец, один надменный молодой человек, весь в белом, снисходительным взглядом позволил мне к нему обратиться. Он был похож на Феликса Юсупова с серовского портрета и даже, как оказалось, тоже носил имя Феликс.

— Какой красивый дворец, — сказал я, стараясь, чтобы голос не звучал просительно, но он меня не послушался.

— Роскошный писдом отвалили совписам. Мой дед при старых господах здесь бывал на приёмах.

— Ого! А я только что видел на Воинова...

— Это Шпалерная улица. Большевистских бандитов пора забывать.

— Ясно. Так я только что на Шпалерной видел Алтайского. Скромный такой...

Алтайский вовсе не показался мне скромным, но меня с детства выучили, что скромность главное украшение великих людей, начиная с Ленина.

— У него особенно скромно позванивают лауреатские медальки на английском твиде. Умный царедворец, ничего не скажешь. Перед исключением Солженицына заранее сбежал в Чехословакию. Но в деле Бродского сыграл открытыми картами: ваш Бродский что — учёный, изобретатель? Почему я должен за него вступаться? Этим своим липовым технократизмом он когда-то всех и оболестил. Наука, техника — как будто и советской власти нет. Как будто его же отца эта власть не расстреляла.

Он чеканил, как с трибуны.

— Извините, а кто это Бродский?

— Ты что, Алтайского знаешь, а Бродского не знаешь? Бродский единственный сегодня великий поэт.

У нас в парткабинете его не было, хотел ответить я, но решил не выставлять себя ещё большим дураком.

Тем временем я заметил компашку, которая чувствовала себя как дома, — перебежали друг к другу, перекидывались шуточками, деловыми вопросами о чём-то им одним известном: «Ты уже подал в “Молодой Ленинград”?», «Кто в этом году составляет “Точку опоры”?», «Сколько там платят за лист?»...

Их броуновское кружение завивалось вокруг чуждой суете троицы, неподвижно стоящей у огромного окна на сверкающую Неву. Всем троим было хорошо за тридцать, хотя сборище наше называлось конференцией молодых, а одному, похоже, перевалило аж за полтинник. Он был одутловатый и слегка бомжеватый, только взгляд его для бомжа был слишком печальный и ушедший глубоко в себя. Время от времени он очень тяжело и продолжительно вздыхал, даже отдувался. Хотя второй — бравый, черноусый, смахивающий на весёлого Чапаева, подравнявшего завитки усов, — рассказывал что-то забавное, поглядывая на публику с юмористическим любопытством, как будто выискивая повод ещё чему-то посмеяться. Он был в летнем бежевом костюме явно «индпошива» — я таких лацканов и погончиков ни на ком ещё не видел. Третий же, худой и отглаженный, с индейским лицом, вырезанным из твёрдого дерева, слушал и смотрел сквозь толпу непримиримо, словно последний из могикан, готовящийся бесстрашно встретить смерть от рук бледнолицых собак.

Я гляделся в весёлого Чапаева и, как это иногда со мной ещё бывает, начал внутренним слухом разбирать его рассказ. Он повествовал о каком-то колхозном Кулибине, соорудившем из швейной машинки и сепаратора реактивный самолёт.

Надтреснутый глас из динамиков прервал его рассказ и наконец-то пригласил нас в «белый зал». Здешние хозяева жизни уверенно двинулись куда следует, остальные потянулись за ними. Я старался не отставать от Феликса: для него я всё-таки существовал.

Белый зал поразил меня избытком не то ангелочков, не то амурчиков под высоченным потолком. Что-то слышится родное: я сам такой же хорошенький, как ангелочек-амурчик-купидончик, и почти такой же маленький. Я почти не вырос после моего детского предательства, о котором речь впереди. Утешаюсь я тем, что всё-таки я не карлик и пробуждаю в женщинах материнские чувства — им сразу хочется взять меня на ручки и дать грудь.

— Какой красивый зал, сколько всяких фигурок! — сказал я Феликсу, желая, чтобы он хоть что-то похвалил, выказал какое-то тепло, от которого бы и я мог чуточку согреться.

Наталья Елизарова

Все дороги ведут к Оке

* * *

И будет слово, брошенное вскользь,
не слово даже — так, цитата...
И поезд, уходящий на Оскол,
и снежная сереющая вата.
Уставшие от взглядований в ночь,
от чтения под перестук колёсный
глаза мои — волненье перевозмочь —
засветятся во тьме беззвёздной.
На солнечную кромку февраля
ступлю скорее в ожиданье марта,
внутри струна звенит на ноте ля,
и движется вагон плацкартный.

* * *

Дети крикнут: «Пашка, Рыжий!»
Подойти боятся ближе,
дразнятся издалека.
Солнце Пашке кожу лижет,
оттого-то Пашка рыжий,
попадёшься — даст пинка.
Лето ярким светом брызжет,
детство наши годы нижет.
Нить порвётся за чертой.
Удалось не всем нам выжить.
Где ты нынче, Пашка Рыжий,
дерзкий, золотой?

* * *

Как за королевичем Елисеем
то кружила кедровкой над Енисеем,
красным волком шла по берегу Ангары,
то над Камой парила коршуном до поры.

Корсаком маячила у Тобола,
окунем, кумжой заходила в Кемь.
Волгу знала с детства, ан поняла не скоро:
все дороги ведут к Оке.

* * *

Октября золотое свечение,
новой осени свежесть и цвет.
Только воздух и лес — излечение
той болезни, что в перечнях нет.
Пустобрёх изувеченных правил,
словарей позабытых певец,
ты последний роман обезглавил,
ты в рассказе запутал конец.
Запиши эту осень построчно,
каждой букве придав кривизну,
не оставив пустот, многоточий.
Только точку. Лишь точку одну.

* * *

Когда и музыка не строится,
и слово не вместить в строку,
прочь уезжай, броди околицей,
ищи подсказки на снегу.
Мир чёрно-белый, ясный, базовый,
понятный всем семи ветрам,
вбирай в себя и сказки сказывай
и долгий путь давай ногам.

В избушках ставни заколочены:
ослепли окна ждать своих.
Вмести Россию между строчками,
во все глаза в неё смотри.

Валерий Айрапетян

Атезолизумаб

Рассказ

Старенькая кнопочная «Нокиа» звонила очень редко, но Семён не переставал носить её с собой. Это был подарок на день рождения от бывшей невесты Веры: «Для самых важных абонентов». Телефон хранил номера Веры, брата Андрея, любивших жизнь, но умерших родителей и хотевшего умереть, но здравствующего однополчанина, осетина Левана, которого Семён успел спасти, перерезав осколком стекла верёвку, когда услышал подозрительный хрип в соседней кабинке туалета; пристанище и кладбище, а не мобильник. Несколько раз в год, по праздникам, в день рождения Семёна и в день своего спасения, Леван звонил другу, чтобы поздравить, пригласить в гости и поблагодарить за жизнь. Всё остальное время телефон молчал.

Деловые контакты (номер брата попал и сюда), двоюродная — и далее — родня, друзья и подруги болтались на другом аппарате — модном, массивном, мощном смартфоне, ежегодно обновляемом на следующую (более модную, массивную, мощную) модель.

«Нокиа» даже не звонила, а попискивала как пойманная мышь, и этот нескончаемый писк выволакивал, выцарапывал сейчас Семёна из вязкого, тревожного, похмельного сна.

Всю ночь обмывали новый Семёновский джип, тюнингованный, отмеченный фирменной звездой чёрный куб, прозванный в народе «катафалком», а Андрей — брат, деловой партнёр и совладелец крупного рыбоперерабатывающего предприятия «Правый борт», — под конец сабантуя подытожил статусность покупки ёмким тостом: «Ну, за пятикомнатную квартиру на четырёх колёсах!»

Семён, не покинув ещё обители сна, стянул с кресла пиджак, нащупал жужжаще-пищащий аппарат, поднёс к уху и, намереваясь произнести дежурно-бодрое «алло?!», силло каркнул. Получилось что-то вроде «акхрло-о».

— Семён?... Сёмушка, это ты?! — звонкая трель надежды, радость и отчаяние матери, услышавшей под завалами голос сына.

Валерий Айрапетян — прозаик. Родился в 1980 году в Баку. В 1988 г. в связи с карабахскими событиями переехал с семьёй в Армению. С 1993 года живёт в России. Окончил медучилище и университет им.А.С.Пушкина. Автор книг «В свободном падении» (2013), «Школа: Дело Дятлова» (2010), «ВРАЙ» (2013). Проза печаталась в журналах «Дружба народов», «Октябрь», «Урал» и др. Живёт в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 12.

Он узнал этот голос, но отнял телефон от уха, взглянул на табло, пару секунд задержался на чужих незнакомых цифрах, запомнил их, прокашлялся и ответил:

— Доброе утро, Мария Акимовна.

— Сёма, здравствуй! Узнал, значит, сынок...

— Ну что вы... конечно... как вас забыть... — замылся, вдевая ступни в мягкие тапочки.

— Сём... — голос женщины задрожал. — Сёма... Вера в беде. Она умирает.

Он так резко присел на корточки, словно ему на плечи взвалили лошадь.

— Как?! Что случилось?

Мария Акимовна всхлипнула:

— Рак лёгких... мелкоклеточный... очень агрессивный...

Впечатанный в память образ цветущей радостной Веры никак не вязался со смертью, с красным кусачим раком, поедающим её лёгкие.

— Тётъ Маш, чем я могу помочь?

Семён никогда не называл мать своей бывшей «Тётъ Машей», но сейчас это обиходное, родственно-соседское обращение само вырвалось как единственное из возможных. Он сидел на корточках, водил рукой по кудрявой голове, иногда до боли оттягивая прядь.

— Знаешь, Сёмушка, такое дело... Мы ведь почти всё продали, чтобы... ну сам понимаешь, какое сейчас лечение в Москве... дачу, машину, мою квартиру... Осталась только Верина однушка...

— Конечно, конечно, понимаю...

— Мне так горько, сынок, так горько! — в трубке послышалось сдавленное рыдание. — Ты ведь помнишь, я сама врач-онколог, столько спасла, столько помогла, а тут... так всё быстро и неожиданно это всё...

— Тётъ Маш... — стало нестерпимо жаль эту прекрасную женщину, от которой никогда на его памяти не исходило ничего, кроме любви и кротости.

— Да, да, прости... — Мария Акимовна глубоко вздохнула. — На данном этапе есть надежда на один сильный препарат, называется «Атезолизумаб», я потом ещё раз продиктую, нужно два курса, это два флакона... Он, правда, очень дорогой и сейчас крайне дефицитный, видимо, из-за санкций, не знаю, но лечащий врач обнадёжил, что можно найти у вас, в Петербурге...

— Прошу вас, очень прошу вас, не беспокойтесь по поводу денег, деньги не проблема... Сейчас запишу, да, секунду... — Семён подошёл к тумбочке, снял с зарядки смартфон, открыл записную книжку. — Как вы говорите, тазылу...

— А-те-зо-ли-зу-маб.

— ...Умаб, ага, записал. Как будут новости, сразу отпишусь, отзвонюсь.

— Сёмушка... — женщина снова заплакала.

— Держитесь!

Он нажал отбой и рухнул на зелёный ворсистый ковёр.

«Ну и названьице! Протезный-лизун-баб какой-то...» — первое, о чём подумал Семён, поймал себя на этих мыслях и устыдился. И тут же вспомнил Серёгу Решето — Решетникова, друга и балагура, умницу и видного сейчас чиновника в питерском Минздраве. Серёга был кандидатом медицинских наук, в прошлом — практикующий гинеколог, писал стихи и пьесы, шпарил по-немецки и на английском, хорошо ориентировался в философии, знал тысячу исторических дат и сонм событий, сделавших эти даты историческими.

Как-то раз, выпивая с ним, на половине второй бутылки коньяка, увлёкшись

рассуждением о гендере, Серёга принялся перечислять интимные женские запахи, отметив, что, пожалуй, самый приятный для него — когда «манда пахнет свежееотжатым творогом». Сказал — и погнал дальше умничать. Но это определение обожгло мозг Семёна настолько, что всё, о чём бы — красноречиво жонглируя фактами, датами, отсылками, — ни рассуждал Решето после, затмевалось одной этой сентенцией, которая будто бы стояла в стороне и позёвывала, а в конце каждой тирады выходила на сцену и громко высказывала себя. Что-то необъяснимое в этой формуле влекло и отвращало: манила заявленная свежесть, но отталкивало соседство творога с гениталиями и колющий холод выскобленной матки, исходивший от слова «отжатый».

И сейчас, после того как Серёга непроизвольно возник в голове вслед за коверканием наименования препарата и ещё, наверное, потому, что это был единственный человек, к которому имело смысл обратиться, Семён, лежа в синтетической траве ковра, ощущал в солнечном сплетении перекачивание запутанного клубка чувств. Весть о Вере объяла его сначала ужасом: «Как же так?!» После — отчаянием, чувством вины и острым ощущением навсегда потерянной возможности: «Я так и не сделал её счастливой». Ледяным страхом: «Смерть существует, и она рядом». Желанием спрятаться: «Я не смогу ничем ей помочь».

Но самым неприятным испытанием для Семёна стала необъяснимая, нахлынувшая вдруг ниоткуда радость, которая, если бы умела говорить, то на вопрос «откуда и на что ты мне?» ответила: «Я пришла к тебе, потому что Вера сейчас страдает и умирает, а твоё здоровое тело знает, что живо и сильно, и радуется этому. Ещё потому, что у тебя появилась возможность проявить великодушие и помочь девушке, которая ушла от тебя, тем самым залечить эту кровоточащую до сих пор рану. И ещё потому, что где-то глубоко, неосознанно, ты желаешь ей смерти, которая, забрав реальную Веру, даст тебе возможность придумать свою Веру, сотканную из воспоминаний, фантазий, фраз: сладкую и трагическую историю любви, тепло томящую сердце до самой кончины».

Семён заставил себя встать и подошёл к зеркалу, в котором показался высокий, сухой, мускулистый («это не „дельты“ — это генеральские эполеты!» — не без восторга воскликнул однажды тренер по боксу, похлопывая его по плечам) мужчина с красивой (кудрявая шапочка волос, густая борода) головой. Вера считала, что с такой фактурой он легко бы сошёл в древности за своего среди греков, персов или иудеев. Стоит только накинуть какой-нибудь хитон, подпоясаться — и в путь.

Пока варил в турке кофе, позвонил Решету, ввёл в курс дела. Тот деловито помычал в трубку, сказал, что перезвонит в течение часа. Решетников выпил вчера больше всех, а с утра, гляди-ка, уже на службе, бодрый и подтянутый, небось, носится по коридорам, флиртует и искритя: беспохмельный тип. Семёна пронзила тоненькая иголка зависти. Перехотелось кофе. Достал из холодильника литровку цельного молока, отвинтил крышку и с жадностью приложился к горлышку.

Принял контрастный душ, после долго растирался полотенцем, планировал. Если лекарство найдётся сегодня, то укатит на завтрашнем утреннем, на пять тридцать, «Сапсане». На «рассветном», как называл его брат, часто мотавшийся по делам в столицу. Похмелье отпускало, даже захотелось немного выпить, но выработанная годами дисциплина претила употреблять, пока не сделано дело.

Позвонил Решетников: «Нашёлся твой этот ебанамат, прямо из царских запасников, записывай телефон человека. Скажешь, от меня, вроде можно сегодня уже забрать. Приготовься, там за два флакона плюс мини-холодильник для лекарств, ну, такой, размером с кирпич, в общем, за всё про всё — пятьсот пятьдесят тысяч, такой

Алексей Комаревцев

Очень петербургский, городской

* * *

Наташе

Как удачно, что мы не соратники Брежнева
в пышных шапках, в пальто на заказ.
Мы друг другу сказать можем что-нибудь нежное
вместо речи к заводу «КамАЗ».

Не встречать нам кубинских врачей делегацию,
в чёрной «Чайке» не мчать по Москве.
Мы спокойно зато поглядим на акацию —
это, в общем-то, туз в рукаве.

Есть «Дюшес» и «Ситро». Вечерет в Таврическом.
Мы на пледе лежим, влюблены.
И в потоке совсем не нужны историческом,
а под деревом этим нужны.

* * *

Подъезды стали, в общем-то, простыми:
не видно классицизма, колоннад.
И только пандус помнит о латыни
и был бы ей сегодня очень рад,

ведь он с такой уверенностью гордой
звучит, как из античности привет,
что вряд ли должен быть обычной горкой
и по себе катить велосипед

в раздумьях, как спасти свою карьеру,
когда везде, куда ни кинешь взгляд,
отсутствуют и копия, и галеры.
А все оливки в баночках стоят.

Комаревцев Алексей — поэт. Родился в Ленинграде 1988 году. Окончил Институт культуры. Участник Школы писательского мастерства (2020, 2021). Автор сборника стихов «Спецпоказ» (2021). Ведёт (с 2021 года) поэтическую студию «Разбег». Лауреат Волошинского конкурса-2021 (в номинации «Киностихотворение»). Живёт в Санкт-Петербурге. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

* * *

В день, когда открыт любой балкон,
а вокруг размахивают прессой,
хорошо быть плавленным сырком
и уже не чувствовать процесса,

Только он один когда-то смог
провести нормально подготовку.
А для остальных, кто не сырок,
всё вокруг похоже на духовку.

Хочется присесть и не спешить.
Ветерок покажется бальзамом.
Нужно это просто пережить —
с чеддером на пару, с пармезаном.

* * *

Когда у пирожков невнятный облик,
а в булочках отсутствует вопрос,
самсы равносторонний треугольник
нас учит геометрии всерьёз,

не может просто так лежать без цели,
участником мучного ассорти,
старается, пока его не съели,
хотя б один параграф донести,

похожий на далёкие скрижали,
на груз, который до сих пор тяжёл.
С того урока мы с тобой сбежали,
а он за нами всё равно пришёл.

* * *

И не важно, что снег тороплив,
что ветра разогнались как спринтеры —
есть на ценнике слово «лонгслив», —
это помесь футболки и свитера.

Не банальный пиджак, не трико,
сразу видно: манящее, новое.
В нём почудиться может легко
что-то длинное, что-то фруктовое,

необычный, невиданный плод,
у зимы оказавшийся пленником.
И его кто-то точно сорвёт
со значками для стирки и ценником.

* * *

Куда-то подевался кафетерий —
все скатерти и пол, и потолок.
Возможно, он уже не в нашей эре
и ходит в чаше, словно диплодок,

без длинной шеи, но довольно длинный,
для будничных бесед совсем не прост.
Исчезли пироги и запах блинный,
зато на месте пятизначный хвост,

и можно им вилять, забыв жаркое,
котлеты никогда уже не греть,
промчатся по равнине мезозоя
и папоротник в зарослях задеть.

* * *

Вдоль дорожки — снежные редуты.
Нет второй пригодной полосы.
Кто-то на другом конце маршрута
ждёт меня и смотрит на часы,

словно это всё — какой-то вестерн,
где, увы, не разойтись вдвоём.
Линия сюжета неизвестна,
но с неё мы точно не свернём —

встретимся без лошади, без колыта.
Будет только плеер под рукой.
Если это вестерн, то какой-то
очень петербургский, городской,

где сугробы вместо декораций,
будничных сюжетов торжество,
где тебя мечтают лишь дождаться
поскорей — и больше ничего.

Елена Скульская

Рассказы

Тополь в небе кружит

На веранде протыкают вишнёвый глаз булавкой и выковыривают зрачок.

Пухом лебединым, будто подстрелили, тополь в небе кружит.

Каштаны, изнемогая от базедовой болезни, раскрывают тяжёлые зелёные жабы веки, заглядывают под коротенькие юбочки пробегающих школьников — безо всякого интереса.

Клён стоит на пуантах надорванных бурей корней, пятипалые листья обгрызены до прожилок.

Дождь остановился у рябины: целует, лижет, покусывает её соски. На дождь косится учительница 6-го «А» класса и говорит в телефон по громкой связи:

— Бесстыдство! Нет, это даже не бесстыдство! Это — о-о-о, да, бесстыдство!

И дождь прячется за деревья, будто он эксгибиционист, а не насильник, и вдруг распаивает листву, словно длинный широкий плащ, камуфляж вздрагивает от прикосновений, учительница выбегает к морю, на песке отдыхает узкогрудая лодка — она лежит лицом вниз, рёбра выпирают, учительница садится на мокрый песок, раскинув ноги, спиной она прислоняется к лодке, чтобы почувствовать тяжёлое хриплое скрипучее чахоточное дыхание впалой лодкиной груди, учительница догадывается: она переворачивает лодку, дотаскивает её до воды, волны с побелевшими от напряжения гребешками вцепляются в лодку, лодка хрипит, стонет, учительница ложится на дно, обнимает дерево и целует его, пока никто не видит, небо опускается всё ниже и ниже, словно белые сборчатые шторы правительственных зданий, словно обвисшие паруса, вода вкрадчиво взбирается в лодку сквозь пробоину, и дельфины ждут учительницу, чтобы поиграть с ней на глубине.

После дождя на просохшей веранде протыкают налитые кровью вишни солнечной жёлтой булавкой, зрачки складывают в старую миску, на дне которой чернеет луна.

Женщина засыпает белым сахарным песком тусклые тушки вишен, она похоронила вчера в саду любимую черепаху, она похоронила её живьём, не решившись убить ненаглядное существо, она не могла представить себе без боли черепахово сиротство, когда её, женщины, не станет и некому будет подать черепахе лист салата, женщина работала уборщицей на пляже, находила кольца, браслеты и жемчужные

Елена Скульская — поэт, прозаик, переводчик, автор множества книг, выходящих в России и Эстонии. Лауреат Международной русской премии, финалист «Русского Букера», четырёхжды лауреат премии «Эстонский капитал культуры». Печаталась в журналах «Знамя», «Звезда» и других.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2014, № 3.

ожерелья: ожиревшие шеи теряли их, загорая, построила дачу — хотела сварить варенье, но тут почувствовала полную безнадёжность жизни.

Тополь падал белыми хлопьями пены, каштановые глаза вынимали из жабьих век, жарили и продавали холодными вечерами, пуанты корней уставали, и клён засыпал стоя, несколько листьев оборвались и полетели к морю, там они долго махали вслед тонущей лодке.

И только соски рябины ждали прихода дождя.

В Петербурге летом

В Петербурге летом жить можно, друг ты мой.

Николай Крыжук

Кошачья лапка патефона...

Воробей в заспанных перьях бросился на тебя. Повис на пуговице пиджака, вцепившись. Спасу. Оборву его, пусть лежит, припрятан на чёрный день в ямке в асфальте, там окурок и монетка ему. И голову его стряхну с разжатым клювом, как большую крошку. Иди теперь.

В летних сортирах укрылись фигурки в Летнем саду. Дошчатые щели желтеют на белом снежке. Только дедушка Крылов сидит открыто, один. Всё ужинает и ужинает, пока не отобедает. Скоро снег растает, и увидишь варежку с задумчивой прорехой. Такая задумчивая, что спит.

Колька, когда вы жили на Ржевке-Пороховых и всё ещё были живы и я приезжала к вам из Таллина, то у нас с тобой там была своя утка. Помнишь, бездомными прачками свешивались ивы к воде и били бельё. Мостик через Оккервиль — маленький деревянный акробат — всё держался и держался, выгнувшись над рекой. А зачем у этой утки зелень в глазах и хвост кисточкой? Зачем, я только хочу спросить, она перебирает под водой кленовыми листиками лапок, короткими листиками перебирает и не может выбрать?

Кошачья лапка патефона. Пробует нарезку пластинки и не решается играть. Стоматолог держит иглу у больного зуба и, наконец, нежно просверливает свой путь.

Летом в Петербурге жить можно, друг ты мой. Вот поедем на Исаакиевскую площадь, я там выбрала собаку на подоконнике. Она сидит среди цветов и не беспокоит их. Мы сделаем ей надрез на шее, по хребту. Она не заметит. Мы будем складывать туда деньги и накопим много-много. А потом мы свернём за угол, пересечём Невский в пуху, пойдём по улице, и там, где трамвайные рельсы, выскочит пивная. Вокруг разбросаны деревянные ящики, и лежит женщина со смазанным лицом. Она видит, как по небу ползут муравьи. Кто-то наклоняется над ней и шепчет:

— Танюшка! Милая моя. Ты что же это слегла совсем!

А на одном будут вязаные перчатки. В июне. Серые в коричневых прожилках, как в камешках бывает на берегу. Он осторожничает руками. Он пьёт не из кружки, из стакана. Он одними зубами поднимает его и наклоняет к горлу. Он — карманник. Он держит пальцы в шерстяном тепле, чуткие, как ветерок в жару, как бутон набухает и сжимает лепестки всё сильнее и сильнее перед самым тем, как распахнуться. Он закатывает глаза и почти уже гладит холодный, выпирающий бок, ворсинки сукна больно стесняют кожу, там табачные крошки и наивный леденец во мху; а руки лежат неподвижно, каменно, отдельно.

У самых рельсов купим черешню. Её завернут в клетчатую бумагу по арифметике, с одним фиолетовым упражнением на дроби. Положим кулёк на пень, ягоды покатаются, будем выбирать их из травы. Запивать пивом. А мимо пройдёт скульптор, у него скульптуры в ожогах, они свою муку, свою безнадёжность передают одними

складками одеяний, ужимками глины, потому что у них совсем нет головы, только шея с дырочкой, как у вазы, и как им расскажешь об этом? Он загорюет, увидев нас, съест одну черешню, не сотрёт с неё песок, и песок ещё долго будет скрипеть у него на зубах, с крошечными кусочками ракушек, с прелым привкусом грибницы, и совсем уже ненужно, глупо будет отдавать гашёной известью.

Трамвай покачнётся, прижмёт его к нашему пеньку, петербургское солнце будет качаться над чердаками и подвалами, и всё жалкое, низкое и смешное сойдётся в строчку и поцарапает бумагу.

А ты говоришь мне:

— Я, Лилька, стал вдруг похож на Москву — со сквозняками, с неопределённостью. И ещё, знаешь, словно я весь обит войлоком, сквозь войлок ничего не слышно: слова не долетают, не могут преодолеть расстояние хотя бы до одной ушной раковины.

Так ведь и я тебя не слышу. Старость — это когда начинаешь вспоминать. Начинаешь вспоминать, и нет на свете ни одного человека, который мог бы тебе сказать, что всё было совершенно иначе.

Натюрморт с мальчиком

Он очнулся. Он лежал на земле. Без документов, без денег, без вещей, но прижимая к себе камеру. Вокруг стояли кувшины с длинными птичьими шеями. Синезелёно-лиловые пронзительные горы хребтами поддерживали мятые облака, и ущелья сулили участь Икара. Это, — подумал он, — Сурамский перевал. И ещё он подумал, что пил вчера вино и слушал тосты и даже, наверное, курил траву, но это было в Тбилиси, куда его прислали из Москвы сделать фоторепортаж... О чём? И, может быть, он вовсе и не вчера был в Тбилиси — там ведь всегда произносят тосты и пьют вино, и прошлый вечер невозможно отличить от какого-то другого. Он дошёл до крошечной деревушки, где как раз делали кувшины с птичьими шеями и выставляли на продажу — встречали экскурсионные автобусы, а то, что не смогли продать сегодня, оставляли у дороги до завтра. И вот он шёл по этой крошечной деревушке с почему-то сохранившейся камерой, шёл по горячему, песочному, гончарному краю, не решаясь постучаться, попросить еды и питья и чтобы его отправили в Тбилиси. Не решался ещё и потому, что вдруг засомневался в Тбилиси — может быть, он и не был там: не мог вспомнить ни одного лица из тех, что делили с ним застолье. Но ведь он наверняка прилетел из Москвы, правда ведь, тут-то не может быть сомнений? Правда ведь?! Он слышал бесконечное «э-э, э-э, бэ-бэ» баранов, увидел, как одного из них схватили за задние ноги и поволокли, а баран жадно продолжал щипать траву... Целый день он кружил по деревне, разглядывал чёрные блестящие пуговицы, оставленные на земле овцами, и вдруг совершенно точно вспомнил, эта очевидная точность обрадовала его безмерно, что когда-то давно, в старину, печи топили овечьим кизяком. И тогда он, наконец, обратился к женщине в чёрном и к стоящему рядом с ней мужчине; они стояли у калитки.

Женщина прикоснулась пальцем к камере, висевшей у него на груди. Мужчина сказал:

— Сфотографируй нашего мальчика!

За калиткой стоял домик, сложенный из булыжников, раскачивались тяжёлые гамаки винограда: пухло, животами, прислонялись к стенам и вяло отодвигались, ворочаясь во сне. Жужжала пчела, поселяя в воздухе ворсинки, мелкие тучи пыльцы и особый покой нагретого чердака.

Вымытые половицы дышали как живое дерево, раскрывая заскорузлые поры. Скатерть свешивалась со стола бахромой, которую в детстве хорошо заплетать в косички долго-долго, пока не прогонят спать.

Анастасия Атаян

Кто приносит дожди

Рассказ

— Я не поеду. Что если из-за тайфуна отменят паром обратно? Что тогда? Представляешь, какой разнос мне устроят на работе? — Такахиро ходил по комнате. Шаг вперёд — крутой поворот — шаг обратно. Я сидела на полу, сжимая сланцы. Не могла решить: положить их в чемодан или достать из него купальник, шорты и пляжные полотенца, а сам чемодан спрятать в шкаф. Нам с чемоданом очень хотелось на море, а Такахиро — повышения.

— Я так долго планировала отпуск! Знаешь, чего мне стоило урвать билеты на паром? Это тебе не просто путёвку в турагентстве купить или отель на «Экспидии» букнуть! Люди годами не могут взять билеты на паром до Огасавары! Годами! А тебя пугает тайфун!

— Меня пугает не тайфун, а то, что из-за него мы не сможем вернуться в Токио к понедельнику. В понедельник подписание контракта! Забыла? Я этих клиентов обхаживал несколько месяцев! Я их почти переманил! А если паром обратно отменят? Ты понимаешь, что мне за это будет? Сорвать сделку года в самый последний момент?

— Тайфун может и мимо пройти!

— Как же! Пройдёт он мимо! Прямо по Огасаваре и ударит! Уверен в этом!

— Ты будущее умеешь читать? Откуда тебе знать, в какую сторону двинет тайфун, если даже метеорологи понятия не имеют, куда он завернёт?

— Откуда мне знать? — Такахиро резко остановился. — Откуда мне знать?

Мы оба знали, что знать ему было неоткуда, но признать своё незнание Такахиро не позволял характер. Такахиро был уверен, что знает абсолютно всё на свете. Он переминался с пятки на носок, искал ответ на полу, в мусорном ведре, на магнетиках, облепивших холодильник, на потолке, на стенах. Обшарив глазами всё вокруг, Такахиро уставился на меня.

— Откуда мне знать? — он начал тыкать в меня пальцем. — Да оттуда, что ты — женщина, приносящая дожди!

Я пожала плечами. Бросила сланцы в чемодан.

Атаян Анастасия Вячеславовна — японист, политолог-международник, прозаик, родилась в 1989 году в Сергиевом Посаде. Автор романа «Узники Птичьей башни» и повести «Колодец памяти», входивших в длинный список премии «Лицей» (2019 и 2020). Живёт в Токио. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— Не поеду! — Такахиро скрестил руки на груди.

Я достала из чемодана сланцы, а за ними — шорты и пляжные полотенца.

— То-то же! Найдём, чем заняться в городе! Всяко лучше, чем ехать на море в тайфун!

Я вытащила из шкафа рюкзак.

— Раз ты не едешь, нет нужды брать чемодан. Поеду налегке!

— Ну и езжай! — буркнул Такахиро, добавив тихо «женщина, приносящая дожди».

Так меня обозвал его начальник. Болтливый старичок Ичимура, как и Такахиро уверенный, что знает всё на свете и даже больше. Год назад Ичимура пригласил Такахиро на барбекю на майские праздники.

— Ты понимаешь, какая это честь! Начальник отдела позвал меня в гости! На барбекю! Он меня заметил! Не зря я весь апрель торчал в офисе до последней электрички! — Такахиро вышагивал по кухне. Он напоминал зомби, которому вкололи ампулу адреналина. Весь предыдущий месяц он приезжал домой ближе к часу ночи, падал на futon прямо в костюме, пропахшем переработками, только чтобы следующим утром встать по вою будильника и в семь тридцать отправиться навстречу новым зариманским свершениям.

— Круто! — я не особо разделяла его раболепного восторга. — То есть мы не поедим в горы на майские праздники?

— Какие горы? Где горы и где барбекю с начальством! Это наш шанс!

— Наш?

— Конечно, наш. Вместе пойдём. Будем производить хорошее впечатление.

Одного Такахиро ненасытной корпорации было мало, и по мою душу пришёл вездесущий Ичимура-сан. Я плюхнулась в кресло, закрыла лицо рукой.

— В горы мы отправимся в другой раз! — Такахиро потряс меня за плечо. — Обещаю! Давай выберем, что ты наденешь! Мы должны выглядеть идеально!

Такахиро лучше знал, что понравится боссу, поэтому выбрал наряд за меня. Заставил стереть красный лак и покрасить ногти нежно-розовым.

— Может, сходишь в салон на укладку? Ещё есть время! — предложил он за час до выхода.

— Мы идём жарить мясо, а не в театр! И я честно не понимаю, почему нельзя надеть кеды!

— Вот увидишь, там не будет никого в кедах! Ты же не хочешь стать единственной женщиной в кедах? Чтобы все на тебя показывали пальцем и шушукались?

Я не стала единственной женщиной в кедах. Я стала «женщиной, приносящей дожди».

Когда мы вышли из дома, ярко светило солнце, но чем дальше уносила нас электричка, тем сильнее хмурилось небо. Небо тоже не понимало, почему жарить мясо нужно на каблуках.

На решётку выложили мраморную говядину. Начал моросить дождь. Пока Такахиро обслуживал босса и его возрастных гостей, болтливый старичок Ичимура успел рассказать мне, что он думает о Путине, Шараповой, пирожках, Загитовой и её собаке, Достоевском (его он понимал гораздо лучше меня, как и Такахиро) и водке — именно в такой последовательности. Только Ичимура начал рассуждать о трагедии русской женщины в исконно мачистских формулировках, как грянул гром. Гости переместились под навес. Такахиро забрал у начальника пустую банку пива и двумя руками, сервильно склонив голову, подал Ичимуре новую. Я ждала, когда он подольёт

мне вина, но Такахиро прислуживал лишь начальнику. Совершенно раскрасневшись, Ичимура выдал:

— Смотри-ка! А она у тебя, выходит, женщина, приносящая дожди!

Такахиро переводил взгляд с меня на начальника. Казалось, впервые в жизни он не знал, что делать.

Небо пронзила яркая вспышка — гром, казалось, раскатился до самых Японских Альп. Такахиро открыл было рот, но Ичимура хлопнул его по плечу, указал пальцем в небо и захохотал.

— Смотри-ка! Дело говорю! Она женщина, приносящая дожди! — писклявый смех Ичимуры передался остальным.

— Точно! Женщина, приносящая дожди! Сразу и не понял! — последним засмеялся Такахиро.

— Но ничего-ничего! — старикан отпил пива, осмотрел меня с головы до ног и снова хлопнул Такахиро по плечу. — Зато кожа у неё белая!

Дождь не переставая лился на тент, Ичимура начал проливать пиво себе под ноги. День перетёк в вечер. Никто больше не обращался ко мне по имени. Теперь меня звали *Амэ-Онна* — «женщина, приносящая дожди».

С тех пор, стоило непогоде порушить планы, Такахиро поджимал губы и выдыхал: «Ничего не поделаешь».

В июне начался сезон дождей. Небо рыдало недели напролёт и никак не могло выплакаться.

— Солнце не выглядывало из-за туч целых двадцать два дня. В этом году сезон дождей бьёт все рекорды, — объявили в новостях.

Я заметила, как Такахиро покосился в мою сторону.

— Может, хватит? — спросил он то ли небо, то ли меня.

Я и сама начала верить, что могу вызывать дожди и грозы. Меня это не сильно беспокоило. Мне это даже льстило. Есть девушки красивые, есть девушки умные, а я вызываю дожди. Я помогаю небу скинуть напряжение. Я проливаю воду на рисовые поля и чайные плантации. Иногда я выходила на балкон и, поднимая руки, пыталась дотянуться до туч: так я чувствовала себя всесильной. «Если я могу повелевать погодой, то и с отчётом квартальным справлюсь, и с горой немойтой посуды», — говорила я себе, когда сил ни на что не оставалось, а настроение серело под стать пейзажу за окном.

Как-то в Токио нагрянули школьные друзья Такахиро. Я решила сразу сбросить маски: «Мое хобби? Я вызываю дожди!»

* * *

— Ты уверена? — спросил Такахиро, сдавая билет в кассу. Возле окошка вытянулась очередь — никто не покупал и не перепоккупал билеты, все держали билеты в руках, собираясь их сдать.

Я кивнула. Мы попрощались так, будто паром вот-вот выйдет не в Тихий океан, а в реку забвения и унесёт меня туда, откуда не возвращаются. Я прошла по трапу, помахала Такахиро рукой и скрылась в каюте.

До Огасавары мы плыли сутки. Небо было безоблачным. Небо было таким чистым и таким голубым, что я и думать забыла о прогнозе погоды.

Я не встретила на Огасаваре ни одного туриста — за исключением бледного лица в зеркале заднего вида в единственном автобусе, курсировавшем по острову. Казалось, я одна не отменила поездку. Я всё ждала, когда прольётся дождь. Такахиро убедил меня

на дорожку, что я навлеку на японские Галапагосы тропический ливень. Первый день на островах обошёлся без дождя. Как и второй. Как и третий.

— Вы, оказывается, *Харэ-Онна* — женщина, прогоняющая тучи! — сказал водитель автобуса. Я была единственной пассажиркой и позавчера, и вчера, и сегодня. За пару дней он рассказал мне об острове столько, сколько не рассказал ни один путеводитель. — Обещали тайфун, а он мимо прошёл!

Я не стала говорить водителю, что в зеркале отражается женщина, приносящая дожди. Вдруг тайфун просто опаздывает?

Водитель высадил меня в центре острова. В истерзанном ветрами домике с покосившейся табличкой за поглodанной ржавчиной дверью, по его словам, лепили лучшие на острове суши.

Хозяйка поприветствовала меня, точно долгожданного гостя, суетясь и поправляя передник. Я сидела одна за стойкой, наблюдая, как она мнёт в руках рисовые колобки, как кладёт на них сверху рыбу, как выкладывает суши на плоскую чёрную тарелку. Стены были увешаны фотографиями дельфинов и хозяйки в гидрокостюме.

— Я о вас слышана. Вы *Харэ-Онна*, женщина, прогоняющая тучи. Спасибо за ясное небо! — улыбаясь так, как умеют лишь островитяне, она поставила тарелку передо мной.

Я не смогла признаться загорелой доброй женщине, водившей дружбу с дельфинами и готовившей самые вкусные на острове суши, что я *Амэ-Онна*. Что если тайфун мнётся у порога? Что если он лишь опаздывает?

Я ждала дождей как неизбежности, но дожди не явились ни на четвёртый, ни на пятый день. Звала ли я их на Огасавару? Подставляла ли я небу плечо, чтобы оно заплакалось? Нет, правда, и в Токио я этого не делала.

Небо было ясным, как на открытках, таким ясным, что ночами, раскачиваясь в гамаке, я видела если и не все звёзды мира, то почти все. Я видела столько звёзд, сколько не видела за всю жизнь. Прямо надо мной пролегал Млечный путь. Я вытягивала ноги вверх и делала вид, что шагаю.

— Удивительно красивое небо на этой неделе! Давненько такого не было. Летом здесь часто льют дожди и не видно звёзд — повезло вам! — на крыльцо вышла хозяйка. Я снимала у неё просторную комнату с видом на океан. — Вернее, это нам повезло, что приехала женщина, разгоняющая тучи!

— Знаете... — я села в гамаке. На следующий день меня ждал паром обратно, напоследок я решила признаться. — На самом деле я *Амэ-Онна*. Я женщина, приносящая дожди.

Хозяйка рассмеялась.

— Так говорит Такахиро, мой парень! И так говорит его начальник! — добавила я.

— Ваш парень? Тот, что остался в Токио?

Я кивнула.

— В Токио, на который обрушился тайфун? Ради вашего парня тайфун изменил маршрут. Это ваш парень накликал на Токио дожди. Это он — человек, приносящий непогоду, пусть он никогда в этом не признается ни вам, ни тем более начальнику. А вы — женщина, прогоняющая тучи. Спасибо за ясное небо! Приезжайте к нам ещё. И поищите себе нового парня.

Сутки спустя я везла в Токио солнце.

Евгений Орлов

И трава и любовь песок

Эпизоды

Бедуин пишет в Абу-Даби. Драма с песнями и танцами

(пишет)

не сусальным мёдом намазана
а ещё не сказать: в долгу
для какого такого праздника
я Тебя берегу?

вот казалось бы связь утрачена
перерезаны стремяна
и пустынная однозначность
между нами проведена

как же в памяти всё устроено
на рефлексе ли по шелчку...
для всемирной какой истории
я Тебя берегу?

(поёт)

всё песок: и трава и любовь песок
запад кончится там где зачат восток
для всего на свете отмерен срок
бедуин всегда одинок

(продолжает писать)

или может быть этот скарб нести
с ощущением воровства —
порождение беспризорности
и непризнанного родства?

Орлов Евгений Фридрихович — поэт, культуртрегер. Родился в 1960 году в Риге в семье актёров. Окончил филфак Латвийского университета. Организатор конкурсов «Кубок Балтии по русской поэзии» и «Чемпионат мира по русской поэзии». Победитель литературного конкурса, проведённого Союзом писателей Латвии и посольством России в Латвии (1998), лауреат конкурса имени Н.Гумилёва «Заблудившийся трамвай» (2004). Автор сборников стихов «Грамматика слуха» (Рига, 2006), «Эйяфьядлайёкюдль» (Рига, 2020). Живёт в Риге. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

(танцует под «Болеро» Равеля)

пам
па-ра-ра-рам-пам-пам-пам-пам
парарам-парарам...

(снова пишет)

в Абу-Даби Твоём небоскрёбов тьма
от мечети Зайда исходит свет
для кочевника каждый дом тюрьма
но зато в ней есть интернет

(снова поёт)

всё песок: и трава и любовь песок
этот мир не сложен и не жесток
как последний примулы лепесток
бедуин всегда одинок

(пишет)

в Абу-Даби своем — на краю земли
между тем как поёшь и заснёшь
Ты зайдёшь посмотреть не умер ли
а окажется — умер всё ж

(танцует без музыки)

Прогулка с фотокамерой

в городе серо
в городе пахнет серой

чёртики веток сбросили шерсть
стали такими как есть

хочется крикнуть: слушайте! эй!
кто-нибудь жив кроме чертей?
тихо
на перекрёстке жёлтый колор
вклинил в сурьму светофор

дальше — офисных зданий квартал:
мрамор бетон металл
дальше
на тротуаре лужа и следом —
штрих от велосипеда

справа — проезжая часть а с краю
чётко: щёлки сливной решётки
щёлк!
славно...

и тут к тому же —
вспомнился ранний Кушнер:

«...таинственна ли жизнь ещё?
таинственна ещё...»

ритм шагов становится плавен —
выход к реке... камень

набережной фактурно волгл
(в каждом камне живёт глагол)
тихо

меж берегов уходящих вдаль
сонной стеной стоит вода
кадр не прост

каменный мост
прячет в тумане свой каменный хвост

вдруг — всплеск! и
звук оборвавшейся лески

слышу отчётливо: «Вот чёрт...»
значит в тумане — жизнь течёт:
щёлк!

Стоп-кадр

она играет трупы в сериалах
пластичная — но этого не видно
зато её божественные стопы
открыты для любителей земного

такие стопы! что там ваш анапест
к нему не прикоснёшься ты щекою
а здесь — почти младенческая кожа
нежнейшая как бархатный песок

отсюда и желанье режиссёров
снимать её почаще крупным планом
точнее не её а только стопы —
их лебединый профиль и анфас

и пальцы! выразительный арахис
немного узловатые но — в меру
о! эту меру взять бы Леонардо
да Винчи не дожил до наших дней

и вот она свисает с толстой ветки
иль пеною выносится на берег
иль найдена в каком-то скверном месте
сценарии не блещут новизной...

но стопы! изумительные стопы!
не верю прокричал бы станиславский
таких на этом свете быть не может!
а у неё как видите — нашлись!

и вот она в просторном павильоне
под простынёй — как камень неподвижна
исходит от неё античный холод
свисает бутафорский номерок...

* * *

звучит безоговорочное «снято»
помощник подставляет нумератор
под объектива чуткое стекло:
кадр 3-й дубль 11-й... хлоп!

киношный морг теперь пчелиный улей
она ещё лежит но первой пулей
влетает костюмер за простынёй —
он как и все торопится домой

потом гримёр как гонщик аккуратен
освободит её от трупных пятен
снабдив салфеткой: подотрёшь в паху
а я бегу прости меня бегу...

* * *

она любит просматривать фильмы в которых снималась
садится в огромное кресло
укутывается в плед
из-под которого торчат её розовые пятки
маленькие узкие стопы
сложены книжкой

о чём она?

Наталья Рапопорт

Вакка

Фрагменты будущей книги

Если бы был объявлен конкурс на самое употребляемое слово года, в 2020 году на всех языках мира выиграло бы слово «Ковид», с большим отрывом. В 2021 году акценты сместились, и абсолютным чемпионом стало бы, без сомнения, слово «вакцина» в разнообразных грамматических формах и вариантах, с дополнениями и уточнениями (Ты какой вакциной привился? — Я «Пфайзером», он «Модерной», а эти — «Спутником»)¹...

Слово «вакцина». Как оно родилось и что за ним стоит? В поисках ответа на эти вопросы я наткнулась на серию драматических историй, несколькими из которых хочу поделиться.

Слову вакцина предшествовали во времени слова эпидемия (греческое: болезнь, распространенная в народе) и карантин. Человечество пережило много различных эпидемий: проказа, оспа, чума, холера — чем только Господь не карал свою погрязшую в грехах паству! Некоторые болезни, например, оспа, уходили в прошлое, им на смену приходили новые, более изощренные и охватывающие все большие массы людей и географические регионы.

Предыдущая большая эпидемия — испанка — закончилась всего столетие назад, но у человечества короткая память, и Ковид-19 ошеломил и ударил нас, расслабившихся, словно это была первая в истории эпидемия на планете Земля. К чести нашей надо сказать, опомнились мы сравнительно быстро и начали судорожно искать спасения. Неоценимую помощь в этих поисках оказал опыт предков. Чтобы извлечь из него рациональное зерно, совершим короткую экскурсию в глубь веков.

Наталья Рапопорт — почетный профессор университета штата Юта, работает в области химиотерапии рака. Автор книг на русском языке: «То ли быть, то ли небыть»; «Личное дело»; «Автограф», *Ex Epistolis* (совместно с Марком Копелевым), и на английском: «Stalin and Medicine. Untold Stories» («Сталин и Медицина. Нерассказанные истории»). В 10-м и 12-м номерах «ДН» за 2020 год опубликована повесть Н.Рапопорт «Набережная исцелимых», повествующая о первой волне ковидной пандемии, пережитой автором и ее семьей в Италии, и ставшая частью готовящейся новой книги, фрагменты которой, неизбежно опуская массу интереснейших исторических фактов и захватывающих сюжетов, мы публикуем в этом номере.

¹ Забавное совпадение: я отправила первый вариант этого эссе приятельнице, мнением которой очень дорожу, и почти мгновенно получила от нее сообщение, что на самом деле конкурсе популярных слов и выражений существует в разных странах уже много лет, и как раз сегодня в России обнародован победитель 2021 года. Я угадала, победило слово *вакцина!* Кстати, я угадала и победителя конкурса 2020 года: слово *Ковид*. Впрочем, особого повода для хвастовства и ликования нет: предугадать это было несложно...

Оспа

Оспа — невероятно заразная вирусная болезнь, уносившая в течение веков многие сотни миллионов, если не миллиарды жизней. Только в двадцатом веке, по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), она унесла жизни трехсот миллионов человек.

Оспа передается только от человека к человеку, обычно воздушно-капельным путем, но заразиться можно и контактным способом, через прикосновение к пораженной коже или к инфицированным предметам.

По-видимому, первые попытки вакцинирования против оспы были предприняты в незапамятные времена в Азии, задолго до изобретения слова «вакцина» и самой вакцинации. Людей заражали небольшой дозой вируса, для чего брали гной из оспенного пузырька больного и вводили его здоровому человеку. Человек заболел оспой, но переносил болезнь легко и больше уже никогда оспой не заразился: возникал стойкий иммунитет. Такой метод называли вариоляцией, в XVIII веке он приобрел популярность в Европе. По слухам, его привезла в пораженный оспой Лондон жена английского посла в Турции. Процедура требовала большого мастерства; при непрофессиональной манипуляции смертность от вариоляции составляла примерно два процента, но это все равно было в десятки раз ниже, чем смертность от самой болезни.

Население Европы относилось к вариоляции прохладно. Нигде, кроме Англии, она не находила большой поддержки: народ пугался этой процедуры. Во Франции она была запрещена, даже при том, что в 1774 году французский король Людовик XV, правивший почти шестьдесят лет, умер от оспы. Российская императрица Екатерина II писала своему многолетнему парижскому корреспонденту, литературному и музыкальному критику Мельхиору Гримму: *«Стыдно французскому королю в XVIII столетии умереть от оспы»*.

По Европе в XVIII столетии от оспы ежегодно умирало примерно четыреста тысяч человек¹; смертность среди детей превышала 80%, среди взрослых — от 20% до 60%. Оспа разила действующих монархов и членов их семей.

В 1767 году страшная эпидемия оспы началась в России. Екатерина II вместе с сыном, великим князем Павлом Петровичем (будущим императором Павлом I) «самоизолировались» в Царском селе. Но эпидемия бушевала, и тогда просвещенная Екатерина решила подать пример своим подданным. Это *«...побудило меня сделать сим опасениям конец и прививанием Себе оспы, избавить Себя, так и государство от небезопасной неизвестности»*, — пишет Екатерина II своему послу в Англии графу И.Г.Чернышёву и просит прислать опытного врача, который привьет ее и сына.

Выбор посла пал на доктора Димсдэйла (Екатерина в переписке называет его Димсдалем), славившегося в Лондоне богатым опытом и мастерством вариоляции. Екатерина полностью осознавала опасность процедуры и подписала бумагу, гарантирующую неприкосновенность Фомы Димсдэйла в случае неумышленного нанесения вреда ей или ее сыну, даже в случае ее смерти.

Процедуру осуществили 12 октября 1768 года. Гной для вариоляции Екатерины II был взят у заболевшего оспой шестилетнего петербургского мальчика Маркова². Он был в ранней стадии болезни и идеально подходил как донор материала. Сын доктора Димсдэйла завернул мальчика в одеяло и через тайный ход привез в Зимний дворец, где их ждала Екатерина. После прививки Екатерина выехала в Царское Село, где постоянно находилась под наблюдением врачей.

¹ По оценке И.К.Юнкера, профессора медицины университета в Галле (Германия).

² Подробности вариоляции Екатерины II почерпнуты мною из источника <https://vaccina.info/kate>; <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1200696/>

Выздоровлившая императрица стала раздавать собственный «оспенный материал» своему ближайшему окружению, российской аристократии, для дальнейшего прививания. Ее «тело» получило около ста сорока человек. Процедура сделалась настолько модной, что ее хотели получить даже переболевшие натуральной оспой. Екатерина писала Чернышёву в Лондон: «*Вот каков пример. Месяца с три никто о сем слышать не хотел, а ныне на сие смотрят как на спасение*».

Шестилетнему Саше Маркову, донору гноя для прививки, Екатерина пожаловала дворянство, и его фамилию сделали почетной, двойной: Марков-Оспенный. Лейб-медик Димедэйл получил титул барона и большие деньги.

Но эпидемия оспы (в источниках ее ошибочно называют чумой¹) продолжала распространяться по стране с возвращавшимися с Балканской войны солдатами. Большая вспышка произошла в 1770 году. Народ сопротивлялся изоляции и госпитализации, распространяя заразу. На кладбищах не хватало мест, и трупы погибших зачастую просто выбрасывали на улицу.

Екатерина II издала специальный указ «О неутайке больных и невыбрасывании из домов мертвых», по которому за метание трупов на улицу полагалась каторга. Но одно дело указ и совсем другое — его реализация: из-за малочисленности полиции реализовать указы императрицы было сложно. Вещи умерших по указу полагалось сжигать, но какой дурак станет сжигать оставшиеся от покойного хорошие вещи...

В такой ситуации, как обычно, мгновенно возникли теории заговора. Например, пронесся слух, что Господь прогневался на русский народ из-за редких молебнов у Варварских ворот, в которые наверху была вставлена икона Божьей Матери; внизу стоял сундук для подаваний. Народ начал толпами стекаться туда на стихийные молебны; многие приставляли лестницы и лезли целовать икону. Чтобы ограничить стечение народа во время эпидемии, просвещенный Архиепископ московский Амвросий убрал икону в храм, а сундук с пожертвованиями передал в воспитательный дом, куда свозили детей, осиротевших во время эпидемии. Это вызвало так называемый «чумной бунт» (бубонную чуму часто путали с оспой). Толпа «с дубьем и кольями», около десяти тысяч человек, растерзала Амвросия и разграбила ближайший монастырь. Начались погромы больниц и убийства персонала, которые якобы травили больных и здоровых мышьяком. Народ подозревал, что истинная причина массовых смертей крылась в злодеяниях врачей, а вовсе не в чуме.

Тогда, в XVIII веке, «чумной бунт» в Москве успешно подавил московский губернатор генерал Еропкин; около сотни бунтовщиков погибло, четверых казнили, остальных отправили на каторгу. Сам Еропкин был дважды ранен, поэтому Екатерина II передала московские дела графу Григорию Орлову. Орлов провел серию важных и мудрых мероприятий.

И дело пошло. Уже к ноябрю 1771 года вспышка в Москве практически погасла. Эпидемия кончилась.

Трудно сказать, сколько человек тогда погибло; официальные данные говорят о 57 тысячах. Однако сама Екатерина II считала, что их могло быть около ста тысяч — половина населения тогдашней Москвы.

Эдвард Дженнер, коровья оспа, рождение вакцинирования

В самом конце XVIII века в процессе борьбы с эпидемией оспы произошла настоящая революция в медицине. Ее совершил английский врач Эдвард Дженнер. Он осуществил эксперимент, который впоследствии станет одним из самых известных в истории медицины. Идея Дженнера заключалась в том, что намеренное заражение

¹ См. например: https://naked—science.ru/article/history/koronaviruszagovor?utm_source=inarticle&utm_medium=inarticle&utm_campaign=inarticle.

Дэн Дельтман

«И вновь продолжается бой»... но уже в Америке

I

Что случилось с Америкой? Страна как будто сошла с ума и на потеху авторитарным режимам мира сего занимается самобичеванием: сражается с памятниками, оплевывает свою историю, объявляет, что поражена структурным и институциональным расизмом. Под сомнение берется все, вплоть до начала американской истории. Предлагается считать отправной точкой не Американскую революцию 1776 года, а 1619 год, когда к берегам Виргинии причалил корабль, на котором находилась горстка чернокожих, захваченных в португальско-африканском рейде на территории нынешней Анголы. Прибыли эти двадцать с лишним человек не по своей воле, но оказались не рабами, а контрактными рабочими, как и многие колонисты. Отработав энное число лет, получили свободу. Николь Ханна Джонс, афроамериканская журналистка из «Нью-Йорк Таймс», назначила это событие точкой отсчета американской истории и провозгласила, что 2019 год — это год, ознаменовавший 400-летнюю историю унижений и страданий чернокожих соплеменников. Профессиональные историки нашли много изъянов и проблем в ее описании этого события, но левая американская пресса превознесла зачинщицу. В ответ на ревизионистский почин президент Дональд Трамп организовал Комиссию-1776, куда привлек видных историков и общественных деятелей. Целью комиссии было культивирование патриотического образования и борьба с очернением отцов-основателей Америки. Стоит ли удивляться, что пришедший к власти Байден немедленно комиссию распустил? Нынешняя американская культурная революция, как и все предшествующие ей, пытается построить новый мир, предварительно разрушив старый. Отсюда борьба с памятниками, запрет на книги, новояз, гонения на несогласных вплоть до увольнений с работы и другие признаки нового времени.

Вы, возможно, думали, что существует только два пола: мужской и женский? Отстали от времени! Фейсбук предлагает богатый выбор из пятидесяти восьми вариантов половой принадлежности. Какое богатство!¹

Неудивительно, что у многих американцев, особенно в связи с пандемией, кружится голова от происходящего. Как следствие — конспирологические теории и

Дэн Дельтман — журналист и политический комментатор, живущий в США.

поиски некоей скрытой группировки, управляющей страной. Современную радикальную идеологию некоторые сравнивают с религией — проповедуются утверждения, которые надо принимать на веру и в которых не положено сомневаться: «социальная справедливость» (social justice); «разнообразие, равенство и включенность» (diversity, equity, and inclusion), утверждается, что американцы живут в условиях институционального и структурного расизма и что полицейские — расисты, убивающие чернокожих. По словам одного известного парадоксалиста, «в жизни все не так, как на самом деле». Как писала журналист и юрист Хеза Макдональд², «В 2015 году у полицейского было в 18,5 раз больше шансов быть убитым чернокожим мужчиной, чем у невооруженного чернокожего быть убитым полицейским». Ей вторит афроамериканка Кэндис Оуэнс, популярная консервативная телеведущая, журналистка и активистка. По ее словам, в 2016 году у черных американцев было больше шансов быть убитыми молнией, чем быть убитыми полицейскими, будучи безоружными³.

Жажда власти способна переупрямить факты, особенно вкупе с древнейшим принципом «разделяй и властвуй». С приходом к власти новой администрации во главе с Джо Байденом, критическо-расовая теория (КРТ) стала официальной доктриной не только левых радикалов, но и Демократической партии США, полевевшей до неузнаваемости. Байден тут же отменил запрет Дональда Трампа на преподавание этой теории в федеральных учреждениях. В ряде штатов, где в этом вопросе верх взяли республиканцы, КРТ находится под запретом, но в большинстве американских штатов она победно шествует по образовательным учреждениям, начиная с детского сада и кончая университетами и корпоративными тренингами. Так что же это за теория, и откуда она взялась?

Чтобы это понять, надо углубиться в историю, точнее, в 1940-е годы, когда ряд представителей философской так называемой Франкфуртской школы (Юрген Хабермас, Теодор Адорно, Макс Хоркхаймер, Герберт Маркузе, Эрих Фромм и др.) бежали от нацизма и переселились в Америку. В 1937 году Макс Хоркхаймер написал манифест «критической теории». Он утверждал, что люди не могут мыслить об обществе объективно. Общество делится на угнетателей и угнетаемых. Звучит знакомо? Что ж, Франкфуртская школа была пропитана марксистскими взглядами. Далее: те из угнетаемых, которые придерживаются культурных норм и верований, свойственных противоположному клану, то есть угнетателям, мешают революции, стоят на ее пути. Основатель итальянской коммунистической партии Антонио Грамши видел, что нельзя полагаться на пролетарскую революцию на Западе. Во-первых, рабочие разделены по национальной принадлежности, и, во-вторых, путь революционных изменений преграждают такие устои как семья и религия. И что же?

Обосновавшись в Колумбийском университете, «франкфуртцы» прижились и обросли связями и влиянием, главным образом на движение «новых левых», ставшее популярным в конце 1950-х — начале 1970-х годов в американских высших учебных заведениях. Студенческое американское движение тех лет превозносило «трех М»: Маркса, Маркузе и Мао. Маркузе увидел в расовых меньшинствах именно тех «угнетаемых», которые призваны коренным образом преобразовать американское общество и «протащить» марксистскую революцию. Зерна падали на благодатную почву: ученицей Г. Маркузе была не кто иная, как наша давнишняя знакомая Анджела Дэвис, чью свободу горячо отстаивала советская общественность.

Маркузе поощрял революционную активность и объявлял современное капиталистическое общество тоталитарным, в котором «политическая власть утверждает себя через машинный процесс и техническую организацию аппарата»⁴.

Свобода, по мысли Маркузе, обретается через коллективизм и так далее по заезженной дорожке.

Толерантность современного западного общества, по Маркузе, это уловка хитрой буржуазии, призванная одурачить пролетариат. Но угнетенные меньшинства не должны останавливаться ни перед чем, включая насилие, чтобы разрушить существующую систему и создать более справедливое общество.

Современная американская высшая школа глубоко пропитана марксистскими идеями и влияниями. Нынешняя доктрина, внедряемая с младых ногтей, призывает не просто к равенству, но к equity, то есть к равенству в результативных проявлениях. Марк Левин задается естественными вопросами: «...действительное равенство в экономическом контексте и неосуществимо, и невозможно. Что в действительности имеется в виду под экономическим равенством? До какой степени его можно навязать населению, состоящему из уникальных и различных индивидов? Как мы определим, когда равенство достигнуто? Как мы уверимся, что оно продлится от одного поколения к следующему? Не является ли экономическое равенство равенством в глазах глядящего? И какой эффект будет иметь экономическое равенство, что бы оно ни значило и как бы его ни внедряли, на экономический рост, возможности и благосостояние всего общества? В каких из 190 стран, включая коммунистические режимы, в реальности существует экономическое равенство?»⁵

Сегодняшняя американская система образования направлена на подрыв самого фундамента Америки: в школах пропагандируется, причем начиная с самых младших классов, что страна основана на несправедливости, что белые люди безмерно и неискупимо виноваты перед черными и цветными, что американцы живут в обществе «системного расизма» и абсолютно все упирается в расовый вопрос.

Как пишет Марк Левин, «промывание мозгов против основ Америки и гражданского общества и индоктринация активизма и протеста — даже насильственного, если необходимо, — постоянно проповедуются в высшей школе. Цель: создать поколение революционеров».

В 2006 г. было проведено опросное исследование преподавателей высшей школы 927 образовательных учреждений. Согласно этим данным, только 9% преподавателей было консервативно настроено, в то время как 80% были устойчиво левыми по своим взглядам. Более того, из этих 80% более половины были крайне левыми, и каждый пятый профессор по социальным дисциплинам относил себя к марксистам⁶.

Что касается демократов в целом, то, согласно опросу Гэллопа за 2018 г., 57% демократов смотрят на социализм позитивно, и только 47% из них позитивно смотрят на капитализм.

Критическо-расовую теорию развивали и совершенствовали, распространяли и пестовали по всей Америке. В 1970—1980 годах эксперты-юристы, такие как Деррик Белл, Кимберле Креншоу, Ричард Дельдаго и другие, посвящали ей свои труды. Многие считают, что основателем Критической расовой теории является Деррик Белл, профессор юриспруденции Гарвардского университета. Д. Белл в своих взглядах расходился с теми, кто стоял во главе движения за гражданские права, включая Мартина Лютера Кинга и его друга и доверенного лица Доктора Уолкера.

Проповедники КРТ утверждают, что расизм внедрен во все американские институты и что отстаивание прав юридическим способом бесплодно. Почему эта теория называется «критической»? Потому что традиционная идеология обслуживает интересы правящего класса, а эта теория заступает за якобы бесправных. Именно поэтому надо подвергнуть критике все общество с его институциональным,

Евгений Абдуллаев

Полторакрылая птица

Девять поэтических сборников 2021 года

«Каждый месяц выходит у нас несколько новых сборников стихов. В книжных лавках их даже не считают за книги. Спросите у книжного торговца: “что есть нового?” — он вам покажет два-три последних романа, один или два журнала, еще что-нибудь. Стихов не покажет, не стоит, — их всё равно никто не покупает».

Это Георгий Адамович — в парижских «Последних новостях», 1930 год.

Мы не в Париже, но происходит у нас то же самое, и уже давно.

Вначале мы удивлялись, что сборники современных поэтов кто-то покупает. Потом — что магазины (хотя никто не покупает) всё же берут их на реализацию.

Теперь осталось только одно удивление: поэтические сборники (хотя и магазины уже почти не принимают) еще издают. И немало.

В одной Москве, если судить по числу выдвинутых на премию «Московский счёт», их выходит с каждым годом всё больше.

В 2018 году было номинировано 159, в 2019-м — 213, в 2020 — 251.

В 2020-м, вопреки пандемии и обвалу книготорговли, поэтическое книгоиздание находилось на гребне (см.: «Дружба народов», 2021, № 3). Впрочем, к тому, что оно у нас, как пушкинская чахоточная дева, всё хорошеет, похоже, все привыкли.

В прошлом году дела — вполне ожидаемо — обстояли похуже; в первый ковидный год ещё действовала инерция предыдущего, до-ковидного. Поэтические серии, стартовавшие в 2020-м — вроде «ОГИ-поэзии» или затеянного «Воймегой» «Пироскафа» — приостановились: то ли временно, то ли — увы...

Всё остальное как-то продолжает крутиться-двигаться: и прежние поэтические серии, и книги вне серий. Появилась новая серия — «Действующие лица», совместный проект «Воймеги» с ростовским журналом ProsoDia. Много издала московско-питерская «Пальмира», делающая ставку на известные поэтические имена. Сохраняет поистине стахановские темпы «Стеклограф», работающий, в основном, с новыми именами: печатает их десятками.

В этом обзоре, как обычно, об одних книгах будет сказано подробнее, о других — менее, о третьих — просто назывным порядком. Не потому, что третьи — хуже вторых, а вторые — менее заслуживают разговора, чем первые. Да, конечно, и личные предпочтения — но лишь отчасти. О Ерёмине, например, или о Кононове я до этого вообще не писал. Об Аркатовой, о Сен-Сенькове... Разговор этот ведь не столько о книгах, сколько о современной поэзии. Образца «2021».

«Пальмира»: Николай Кононов

О Кононове написано и сказано много.

Писала о нём Лидия Гинзбург. Писали Данила Давыдов и Александр Уланов, Олеся Николаева и Михаил Золотонос, Валерий Шубинский и Кирилл Корчагин.

Втиснуться в этот ряд и сказать что-то новое сложно. Всё уже отмечено. И сверхдлинная строка — а иногда, точно в пику ей, сверхкраткая. И барочная избыточность и теснота образного ряда. И раблезианское внимание к телесному низу — скорее печально-ироничное, чем весёлое...

Но и не сказать о нынешней — итоговой для поэта¹ — книге было бы несправедливо. Тем более что в неё вошли все его предыдущие сборники — начиная с «Орешника» (1987)².

Золотая наледь в тарелке супа, зимняя ломкая пыль в солонке
Посередине стола. И когда это было? Шумными лёгкими,
Полными весёлого воздуха, дышалось? Истончаются перепонки
Крылышек детского планера, подвязанного к потолку бечёвками.

Это из стихотворения «Планер» 1985 года. Вполне в духе метафорических поисков того времени у более старших московских поэтов: Парщикова, Ерёмченко, Жданова. Разве что большая прозаичность — и в более обострённом внимании к бытовой детали, и в более удлинённой, почти прозаической строке.

В последующих книгах Кононова письмо становится всё более вязким, строка то удлиняется, словно пытаюсь вытечь за пределы страницы — в «Лепете» (1995), то ужимается до предела — в «Полях» (2004). «Мне, / Нам / Не / Там, // Где / Смерть, / Рдеть / В треть // Тел / Двух. / Е! / Ух!»³.

Меняется от книги к книге и лирический герой. В «Пловце» (1992) ещё просвечивают какие-то биографические детали: работа школьным учителем, репетиторство... Затем это исчезает — как и вообще какая-то событийность; видимо, целиком оттягиваясь прозой Кононова, которая начинает выходить в нулевые.

В стихах из последнего сборника «Пьесы» (2019) тесно от литературных имён: тут и классики — Рильке, Томас Манн, Пушкин, и недавние современники: «Здесь Лена Шварц с метафизической тросточкой ходила...» Само письмо становится предельно литературно насыщенным и изошрённым; всё смешивается со всем. Изысканные метафоры — с матюгами, политические аллюзии — с эротическими подробностями, сниженный прозаизм — с обострённым, до синестезии, лиризмом. И всё вместе — с расщеплением поэтической речи.

...Как счесть их всех, когда, вздохнувши, молча убывают,
Зачатые омовцем-страной, —
Под языком, уздечки возле, скользят себе неумолимо
Росинкою по выхлопу-дуге туда, где улялюм-газопровод...

¹ Кононов Н. Свод. — М.; СПб.: «Т8 Издательские Технологии» / «Пальмира», 2021. — 200 с. (Серия «Пальмира — Поэзия»).

² Который был даже не отдельной книгой, а названием подборки в коллективном сборнике с банальным названием «Дебют» и игривым подзаголовком «Поэтом нужно быть до тридцати...».

³ Последняя линия кажется интересной больше как эксперимент, как вариация на ходасевичевские «Похороны» («Лоб — / Мел. / Бел / Гроб...»). После «Полей» Кононов к этому гиперминимализму уже не возвращается.

Я б запахи в себе таил плацкартного вагона
 Оравы спящих граждан больше, если б не
 Светлана Михайлюк Сергевна с усталой Нурганышью
 Проводниками в смену заступили на самой тёмной станции моей...

После «Пьес» действительно сложно писать куда-то дальше... Пока же поэт собрал все разбросанные им камни-книги и сложил из них «Свод». На обложке — свод готического собора: удачная оформительская находка. Возможно, поэтическое строительство у Кононова пока не завершено — ведь кроме свода для здания должно быть построено еще многое другое.

Пару слов о начатой в 2020-м серии «Пальмира — Поэзия», в которой издан сборник. В ней вышли также Феликс Чечик, Сергей Ташевский, Игорь Караулов, Алексей Пурин, Дмитрий Кузьмин... Состав пёстрый, но этим, может, и интересный. Главное, чтобы этого издательского запала хватило надолго.

«Новое литературное обозрение»: Михаил Ерёмин

Ещё один итоговой сборник — избранное из избранного¹.

Герметичная, требующая напряжённого читательского вслушивания, поэзия. Уже в открывающем книгу стихотворении Ерёмина 1957 года: «Боковитые зёрна премудрости... Болот журавлиная пряность...»

Словно поздний Заболоцкий, но двинувшийся не под горку песенно-лирического опрощения, а в восхождение к хлебниковским, натурфилософским истокам своих ранних стихов.

Да и вся эта книга (= вся поэзия) Ерёмина может быть прочитана как противостояние установке на доступность и массовость, культивируемой в советской лирике. Смысловой однозначности противостояла у Ерёмина заумь, рифмованности — вольный безрифменный стих, ориентации на повседневную речь — книжность и архаика...

Отсюда и многожды отмеченная — и столькожды ложно понятая — филологичность стихов Ерёмина. Не от филологии как науки с её жадной истолковывать и истолковываться², а от повышенного, напряжённого внимания к отдельному слову, «любословия». Требуемого не столько учёного комментария, сколько неторопливого вслушивания.

Быть остановленному цветом,
 Которого, скрывающий его
 Плотнее копоты и перегноя,
 Дремучий монастырский парк
 Стволами фиолетовой,
 Ветвями лиловой,
 И слушать пепел галок над
 Усекновенной колокольней.

¹ *Ерёмин М.* Стихотворения / Предисл. С.Завьялова; послесл. Ю.Валиевой. — М.: Новое литературное обозрение, 2021. — 464 с.

² Таковы, похоже, стихи принадлежавшего к следующему поэтическому поколению Драгомошенко, которые уже словно изначально написаны в расчёте (сознательном или неосознанном) на маячащего где-то поблизости филолога-интерпретатора.

В выстраивании поэтики по принципу «от противного» была и своя опасность, ставшая очевидной с крушением советского литературного канона. Исчезал, становясь историческим артефактом, объект отталкивания — устаревали и порожденные этим отталкиванием поэтические системы (разнообразные иронизмы, метаметафоризмы и концептуализмы...).

Поэтика Ерёмина не устарела. Наверное, потому что строилась не впритык к советской поэзии. Не пародируя и не подправляя-улучшая её, а где-то в отдалении. В противостоянии *любой* массовой поэзии вообще. В своём, отдельном пространстве.

В пространстве осени
Срывают красоту, тенистость, свежесть, словом, сень
И устилают оной почву
Не злыдни, каковы хрущи, некрозы и хлорозы,
А доброхоты, как то: проливень, подстёга, град.
Сопутны им зонты, плащи и подзабытые галоши.
А быть чему?
Тому, что видится по-за ненастьем?

Это уже 2020 год. Та же неторопливость, подсвеченная лёгкой архаичностью, то же обострённое внимание к слову.

Если что-то и угрожает этим стихам, то — другое. О чём, увы, всякий раз с печалью думаешь, держа в руках очередную книгу из поэтической серии «Нового литературного обозрения». Как всегда, прекрасно по дизайну и, как всегда, «кунсткамерно» по составлению — любят в этой серии уснащать сборники научными предисловиями... Нет, сами тексты предисловий, если рассматривать их отдельно, не так уж плохи. Но под одной обложкой со стихами выглядят, на мой взгляд, и инородно, и избыточно.

Сборнику Ерёмина не повезло вдвойне. В нём, кроме предисловия, ещё и послесловие.

Правда, предисловие, написанное Сергеем Завьяловым, не слишком научно, и даже где-то полемично в отношении сугубо литературоведческого прочтения стихов Ерёмина... Проблема в том, что здесь вообще, мне представляется, неуместно какое-либо предваряющее многословное «пояснение». Не монтируется с идущими следом стихами Ерёмина, требующими вокруг себя тишины, прерывания любого речевого потока; исихии...

Что же до послесловия (Юлии Валиевой), то тут уже филологическая промышленность пыхтит на полную мощь.

«Поэзию Ерёмина можно назвать *семиотической*...» «Для М.Ерёмина поэзия — путь познания...» «Михаил Ерёмин переводит гамлетовский вопрос в плоскость современных реалий...» «Благодаря лексическим переключкам и параллельным синтаксическим конструкциям акцентируются внутритекстовые связи по вертикали...»

Опять же — если бы «НЛО» (которое я очень люблю и ценю) издало сборник статей, посвящённый Ерёмину, то и текст Валиевой — специалиста по питерскому андеграунду, доцента СПбГУ — был бы там вполне «в контексте». И выпренные банальности не лезли бы так в глаза, и филологические выкладки не казались бы нудноватыми.

«Стихи Михаила Ерёмина не являются археологическим артефактом», — пишет Сергей Завьялов.

И не нужно их в него превращать. Оставим предисловия-послесловия для сборников давно ушедших поэтов, там это требуется. Пока поэт жив, не стоит торопиться делать его «достоянием доцента».

Александр Чанцев

Энтузиаст, эмансипе и низвергатель

Трое столь разных персонажей наших книг (если учитывать героев книг и их авторов, то даже больше) не имеют, кажется, ничего общего. Кроме главного их порыва: пересмотреть устоявшиеся и во многом отжившие конвенции, прорваться к радикально новому. Всех троих считали и считают всем кем угодно: сумасшедшими, шарлатанами, агентами. Тот факт, что они до сих пор находятся в центре урагана споров, домыслов и обожаний, говорит все же о многом. И точно приглашает присмотреться к ним поближе, не прогонять с порога.

Тройной поцелуй

Дмитрий СМЕРНОВ-САДОВСКИЙ. Уильям Блейк: Биография. — Saint Albans: Meladina, 2017. 376 с.

Не совсем обычно даже появление этой книги в наших книжных пару месяцев назад. На книге значится 2017 год, но от того первого издания книгу отличает обложка. Новая ли эта допечатка с неизменным годом издания или, например, после смерти автора где-то отыскалась еще пара упаковок книг, не совсем ясно.

Но без определенной доли совпадений — Блейк бы увидел здесь божественную волю, автор же в послесловии пишет, как с Блейком его познакомила обычная советская марка, а любовь к Блейку помогла найти в Англии жилье — тут не обошлось. Так, в это же время загадочного появления книги вышел — уже 2021 года издания — перевод «Мильтона» Смирновым-Садовским, даже в Фейсбуке анонсировалась международная конференция, посвященная Блейку.

Автор не пишет об этом — думаю, для него это более чем очевидно, — но Блейк действительно продолжает быть важным персонажем современной мысли, уходить ни в какое забвение не собирается. Он не только дает свое имя (и судьбу, и видения) персонажу «Мертвеца» Джармуша, но и в образе очень странного Бога из крайне маргинального артхаусного фильма «Порождённый» можно узнать страдающего проказой запертого творца миров из запечатленных Блейком видений. Нобелевский — и даже заслуживающий этого — лауреат Ольга Токарчук называет свою книгу по строчке Блейка «Веди свой плуг по костям мертвеца». Еще одна характеристика Бога как *Nobodaddy*, бессильный Бог, не могущий породить потомства, из сатиры Блейка *When Klopstock England defied* учитывался, кажется, создателями фильма *NO-ONE* Владимиром и Львом Прудкиными. Наконец, последний двойной альбом U2 назван по «Песням опыта» и «Песням невинности» Блейка (о таком же заимствовании у Бродского можно и не напоминать).

Музыкальная рецепция, пожалуй, наиболее интересна в данном случае, потому что автор книги Дмитрий Смирнов-Садовский — композитор, среди его учителей в консерватории был Эдисон Денисов, его сочинения исполняли многие известные дирижеры (особенно после его эмиграции в Англию в начале 1990-х). Кроме того, он автор многих сочинений о музыке Антона Веберна, Пьера Булеза, Дьёрдя Лигети, Харрисона Пола Бёртуистла, Брайана Фернейхоу, Игоря Стравинского, Дмитрия Шостаковича, Эдисона Денисова, Альфреда Шнитке, Софии Губайдулиной и других. В этой же книге приводится список в три страницы его сочинений по мотивам Блейка, которого он, как уже было отчасти сказано, еще и активно переводил.

Последнее интересно еще и потому, что дополнительно рифмует жизнь автора с Блейком. Блейк, как известно, сочинял свои стихотворные ли, прозаические ли сочинения, сам их иллюстрируя и издавая, будучи профессиональным гравером (это один из первых случаев модной ныне технологии print-on-demand, и, кажется, рассматриваемая книга была напечатана с помощью сходных технологий Amazon). Менее известно, что Блейк и пел свои стихи, не записывал сам, но создавал музыку — сторонняя запись этих мелодий, увы, не дошла до нас. Так, получается, что оба создавали то, что с подачи Вагнера называется Gesamtkunstwerk — тотальным произведением искусства¹.

Им и был, по сути, сам Уильям Блейк, «поэт, художник, мыслитель, пророк, почти незамеченный при жизни, а теперь ставший в один ряд с величайшими титанами в истории мировой культуры», или, по автохарактеристике, «полный энтузиазма и вскормленный надеждой визионер». Его фигуре подстать и эта книга — да, Gesamtkunstwerk опять же. Потому что рассказ о Блейке тут крайне ограничен, композиционно и ритмически выстроен. Если, скажем, обычные биографии будут действовать поочередно в разных регистрах — вот глава о жизни, вот глава с разбором какого-нибудь романа или концепта — то книга «Уильям Блейк. Биография» даже лишена подобных швов и переходов. Мы не останемся без знаний — тем более сложных, что времена то были отдаленные, всеохватной фиксации происходящего не виднелось даже за горизонтом, — о том, какова была планировка в последнем жилище Блейка, какое пиво он полюбил под конец жизни и из чего и как (залпом) он пил вино. Если в жизни Блейка появлялись меценаты и просто благодетели, автор, насколько возможно, нарисует их портрет, даст на них «объективку». И это будет именно что объективное повествование — каждый штрих он проверяет, как камертоном, по свидетельствам других биографов Блейка.

Из этой глубокой, но при этом стройной книги (376 страниц, на которые приходится еще многие иллюстрации, именной указатель, список литературы, автобиографический очерк о Блейке в жизни автора, переводы из Блейка, благодарности Григорию Кружкову, Евгению Витковскому и другое) можно, пожалуй, вычленить три основополагающие характеристики Блейка.

Первая — это крайняя независимость Блейка. Возможно, отчасти наследственная: он происходил из семьи диссентеров (от лат. *dissentio* — не соглашаюсь), одного из направлений протестантизма, считавшего главным собственное восприятие Бога и догматов, а не их «готовую» трактовку церковью. Уже в более чем юном возрасте Блейк отказался учиться в школе: повезло с отцом, тот не только дал ему домашнее образование, но и, торговец, финансировал весьма дорогое художественное обучение. С профессией Блейку тоже подфартило — книжный гравер мог много зарабатывать и быть независимым (к концу жизни это сыграло отрицательную роль: слишком уж безумными считались иллюстрации Блейка, заказы почти прекратились). Визионер,

¹ Тема единства была важна для Блейка: например, в стихотворении «Хрустальный чертог» он даже изображает поцелуй сразу трех дев, вложенных одна в другую, что должно, возможно, символизировать триединство тела, разума и страсти (дух на этот раз отделен).

наблюдающий потусторонние миры, Блейк, кстати, был политически весьма интересующимся человеком: посвящал сочинения независимости Америки, революции во Франции. И, если суммировать, отрицал и государство, и церковь.

Народы, что покорны Богу,
Ни в грош не ставят Тварь двуногу...

И:

О злобный Отец Людей,
Самовлюблённый гордец!
Звон цепей,
Плач детей,
Ужели радость тебе, Творец?

Вкупе с нередким изображением сатаны и такими, например, идеями, как необходимость возрождения ветхозаветного многобрачия, странно даже, как Блейк не закончил свою жизнь на виселице. Впрочем, один раз он был весьма близок к этому — когда вытолкал пьяного английского солдата, посмевшего зайти в его сад и мешать своими криками.

Вектор же, ведший Блейка прочь от традиционной церкви, сближал его с мистикой: Блейк активно читал Сведенборга, сблизился с группой последователей Бёме (близкой, в свою очередь, к масонам). «Блейк, как часто утверждают, с интересом относился к радикальным каббалистическим и тантрическим идеям и возможности приблизиться к Богу через сексуальный транс» (да вот жена совсем не поддержала идею о многоженстве...).

И хотя в мирах Блейка можно найти развития идей Бёме, в чужой мистике Блейку было тесно. Его главная идеология называется — фантазия, воображение, творческое, созидательное воображение. «В Природе нет Контура, но есть у Воображения. В Природе нет Мелодии, но у Воображения она есть. В Природе нет сверхъестественного, и она погибает: Воображение же — сама вечность». В мире воображения Блейк не только постоянно общался со своим любимым рано умершим братом, находил свои образы, но потенциал там заложены воистину божественные:

Поскольку
Бог становится как
Мы, то и мы
Можем стать таким,
Как Он.

Кстати, свобода воображения касалась и формы изложения. Так, в уже довольно раннем произведении «Остров на Луне» «Блейк создал уникальный текст, образец ненаучной фантастики или литературы абсурда, где проза свободно перетекает в стихи, стихи в прозу».

Но наибольшее, тотальная свобода была у Блейка в том, что он строил, создавал собственные миры, повествование о которых вел всю жизнь. Он бы сказал — он просто свидетель. Поклонники назвали бы духовидцем. Другим было тяжелее смириться с такими повествованиями и(или) изображениями: «...иллюстрация, дополняя и развивая эту мысль, изображает Сатану в короне и с мечом, которому молятся целомудренные девы-ангелы. Энигармон требует, чтобы Ринтра привел Элинитрию, вооруженную серебрянным луком, — целомудренную подругу Паламбрана, а также свою ревнивую невесту Окалитрон и всех своих многочисленных братьев и сестер. Затем они погружаются в сон на восемнадцать сотен лет».

Свои боги, свои миры, отношения между ними и с людьми — можно было бы

вспомнить даже Толкина или Лавкрафта с Эверсом¹, но вернее будет аналогия с космогонией «Розы мира» Даниила Андреева. Вестники, оба даже не сочиняли, но свидетельствовали о мире, существование которого было для них несомненно. Отсюда много странных имен, термины и понятия другого мира и — в непереуверенной еще на русский эпической поэме «Вала, или Четыре Зоа» — «космическая история человечества: от первоначального Падения до финального объединения и восстановления Божественного Единства». Изложением истории человечества в соответствии с собственной концепцией, можно возразить, занимались, конечно, многие: от Шпенглера до Дугина с его недавней серией книг «Ноомахия»... Но миры эти были мирские, за небеса смотрели уже единицы.

Был ли Блейк безумен? Многие так считали, судя по его гравюрам и поэмам. Да, Блейк легко мог рассказать любому, как ангелы отверзли крышу его дома и возносились через нее, или замереть, всматриваясь в видение духа за плечом собеседника. Именно в этих случаях мне видится даже такой легкий стеб и игра очень живого гения, которому просто скучновато бывает с людскими обыкновениями и порядками, вроде устраивавшего даже в тюрьме хеппенинги Параджанова. Дмитрий Смирнов-Садковский же приводит свидетельства не каких-то пытавшихся надурить Блейка заказчиков, но близко знавших его друзей — те признавали в нем крепкий и трезвый ум. Да и жилось Блейку в целом неплохо: добрейшая жена считала его гением и всячески поддерживала (некоторые заказы она выполняла вместо него), всю жизнь Блейк занимался исключительно любимым делом, под конец жизни купил квартиру в таком доме с садом, от которого не отказался бы и небольшой олигарх в нынешнем Лондоне, очень любил свое загородное жильё². Да и в прогнозах о том, что жить в этом и том мирах он будет еще очень долго, он не ошибся.

Элвис находит в глазах Сфинкса квантовый мистицизм

Сильвия КРЭНСТОН. Е.П.Блаватская. История удивительной жизни / Пер. с англ. Е.Голубовский. — М.: Эксмо, 2021. 720 с.

На вопрос: чем вообще сейчас может быть интересна основательница теософского течения и автор сочинений вроде «Разоблачённая Изида»? — я бы сам не ответил с уверенностью. Хотя бы потому, что очень многие элементы учения Е.П.Блаватской были инкорпорированы другими мистиками — и далеко не только ими — и не могут произвести уже столь ошеломляющего впечатления, как при их обнародовании. А книги ее, кажется, в последний раз активно издавались в те наши 1990-е годы³, когда

¹ «Затем Уризен обрастает чешуей и превращается в ужасного Дракона. Уртона обретает огромную волокнистую форму. Тармас становится подобием гигантской песчаной Колонны, дико кружащейся в вихре. Лос, почувствовав каменное оцепенение в голове и корчась от боли, бросается в Бездну. Энитармон, побледнев и похолодев, покрывавшись млечным соком, стала похожа на трепещущий от страха корневидный отросток».

² При чтении про пейзажные радости Блейка вспоминается песня Вана Моррисона *Summertime in England* из альбома 1980 года *Common One: Did you ever hear about / William Blake / T.S.Eliot / In the summer / In the countryside / They were smokin' / Summertime in England*.

Что другой Моррисон, Джим, взял название своей группы *Doors* — через Хаксли — у того же Блейка, уже давно существует в общественном сознании. *If the doors of perception were cleansed, every thing would appear to man as it is: infinite* — нужно отдать дань обоим, цитата для Блейка весьма репрезентативная. Аллен Гинзберг в своем сборнике эссе «Сознательная проза», где он цитирует Блейка множество раз, писал, что «Песни невинности и опыта» очень напоминают рок-музыку, и сам в итоге переложил их на музыку и записал альбом. Кроме того, Блейк являлся Гинзбергу в видениях и начитывал ему стихи.

³ За последние годы мне вспоминается — кроме каких-нибудь специализированных сайтов и изданий — лишь одна публикация о Блаватской. Да и то в новомодном жанре «Уроки жизни от...» и на сайте, вообще любящем всякие вызовы и прочий кликбейт (автор же публикации, деятель феминистского движения, явно не избежал увлечения именно женской фигурой): *Нестеренко М.* «Мы живём в атмосфере мрака и отчаяния»: уроки жизни от Елены Блаватской // Горький. 2019. 4 сентября (<https://gorky.media/context/my-zhivem-v-atmosfere-mraka-i-otchayaniya-uroki-zhizni-ot-eleny-blavatskoj/>).

на прилавках «Союзпечати» наравне с «Розой мира» и Лимоновым можно было купить де Сада, «Поваренную книгу анархиста» и «Протоколы сионских мудрецов»... Но в мире, настолько сложном, как нынешний, все давно не так, как кажется, за одной правдой есть другая, на нее возражение, и матрешка эта длится до бесконечности.

И вот всего лишь несколько неожиданных доводов в пользу того, что дело Блаватской оказывается весьма актуальным, аukaется по многим пунктам. И про эти самые элементы. Вот, например, самая первая из списка целей Теософского общества: «Сформировать ядро всеобщего братства человечества, без различий по признаку расы, вероисповедания, пола, касты или цвета кожи», — это не только входит сейчас в устав ООН, но и активно дискутируется (в терминах *respect for diversity*, уважения к разнообразию) на всех буквально уровнях. Или более развернуто и красиво: «Доброта, отсутствие дурных чувств или себялюбия, милосердие, доброжелательность ко всем существам и совершенная справедливость к себе и другим людям является ее основными чертами (теософии. — А.Ч.). Тот, кто учит теософии, проповедует евангельскую доброту, и столь же верно обратное — тот, кто проповедует доброту, учит теософии». Здесь, трудно сомневаться, подпишутся представители всех вероисповеданий: от христианства до буддистов-индуистов (на основании верований которых во многом составила свое учение Блаватская), со всеми остановками. И у этого есть и фактическое подтверждение: такое движение, как Парламент мировых религий, было создано под непосредственным влиянием теософов и продолжается до сих пор.

Есть и более локальные — или масштабные, как знать, — следствия вроде того, что, например, «Ключ к теософии» Блаватской стал для Ганди тем сочинением, что «пробудило во мне желание читать книги об индуизме и вывело меня из заблуждения, навязанного миссионерами, якобы индуизм полон предрассудков». Еще один член Теософского общества Джавахарлал Неру, а также Индира Ганди отдавали дань теософам и Блаватской, подчеркивая их роль в возрождении нации — как в собственных глазах индийцев, так и на Западе. В конце концов, слова *реинкарнация* и *карма* появились в западном лексиконе во многом благодаря именно Блаватской, как и увлечение восточными религиями. Говоря о той же Индии, Блаватская была первой, кто затронул вопросы экологии — констатируя, что «в Америке мы имели возможность наблюдать варварское уничтожение лесов», она призывает не повторить этих ошибок в ее любимой стране и в мире: «природа создала условия для развития человека; ее законы нельзя нарушать, не вызвав этим катастрофу». Она шла и дальше, говоря, убеждая в том, что душой наделены абсолютно все живые существа, и конкретно выступая против вивисекции, мучительных опытов над животными, использования их на потеху. Буквально в прошлом месяце по новостям прошли сообщения об отказе отдельных домов моды и целой страны (Израиль) от использования натурального меха в одежде — через сто с лишним лет люди услышали призыв, уже успев глубоко забыть, от кого он исходил.

Можно было бы не прибегать к таким абстракциям, а бросить более яркие фактоиды вроде того, что Блаватская предсказала деление атомного ядра, Первую мировую войну или бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. Но это и легко (если человек много пишет, а Блаватская даже тяжело больной проводила за письменным столом по 12+ часов в сутки, в его сочинениях можно найти *pro et contra* по множеству вопросов), и не столь даже важно. Важнее — современность ее тона. Вот, опять же по довольно частному случаю системы экзаменов при обучении, она говорит о том, что характеризует современное общество «равных возможностей» и «здоровой конкуренции»: «Эта система, предназначенная не для того, чтобы поощрять здоровое соревнование, а для того, чтобы порождать и воспитывать в молодых людях ревность, зависть, почти ненависть друг к другу, готовя их таким образом к жизни, полной самого

беззащитного эгоизма, борьбы за почести и награды, а не добрых чувств». Да, только сейчас эпитеты скорректировали: на «здоровый эгоизм».

Так кем же была эта женщина (что, кстати, уже очень круто само по себе, если вспомнить патриархальную эпоху и годы ее жизни, 1831—1891), бескорыстным пророком и учителем или же умелой шарлатанкой и авантюристкой? К сожалению, ее «феномены» вроде материализованной чайной чашечки на пикнике в Индии, падающих на головы сомневающимся роз или же странных постукиваний, видений, отгадывания запечатанных писем и прочего полтергейста вряд ли могут рассматриваться как достоверные. И если я брался за эту книгу с известной долей скепсиса (разделяемого не только мной — в буквально недавно изданной биографии Пессоа мне попался абзац про его первоначальное увлечение Блаватской и постепенное охлаждение), то книга Сильвии Крэнстон¹ о Е.П. ее не развеяла. И виноваты в этом — Е.П. и автор прежде всего. Очень многие сомневались, что еще юной и в одиночестве (!) Блаватская объездила все мистические центры мира от Египта до Индии, посещала Тибет. И, когда существуют более поздние свидетельства, как те же англичане, опасаясь российской якобы шпионки, ее не пускали в Лхасу, Е.П. не только не предоставляла свидетельств обратного, но и отделивалась весьма сомнительными фразами, что ее учителя (Махатмы) должны остаться скрытыми, от истинного знания нужно беречь неподготовленных и т.п. «Даже самым близким друзьям я никогда не рассказывала ничего, кроме самых отрывочных и общих сведений о моих странствиях, и впредь не собираюсь потакать любопытству других, меньше всего — моих врагов». Да, ее тщательное сокрытие подобных биографических вещей можно объяснить и личной скромностью, и нежеланием отвлекать от ее учения ради всякой мистики и авантюрных подробностей, и даже концептом «сокрытия личной истории» за авторством Кастанеды. Но, здесь опять же можно возразить, восстанови она истину, это послужило бы лучшей репутации ее учения, не отвратило бы многих. Она же не подавала и в суд на авторов самого подробного разоблачения от бывших членов Теософского общества и ее приближенных (да, ей отсоветовал по определенным причинам синклит ТО, да, на то были причины, но...). К сожалению, автор, ее большой поклонник и, судя по ремаркам о каком-то приглашенном в ее американский дом ламе, участии в конгрессах а-ля New Age и т.д., сама участница подобных течений, выступает в книге в роли плохого адвоката. Она упоминает все крупные обвинения Блаватской в шарлатанстве и потом многостранично разрушает их, не оставляет от них камня на камне. Но — не дает и полстранички на то, чтобы познакомить нас хотя бы с сутью этих обвинений. А это, согласитесь, только подкармливает червячка сомнения...

Так странствовала ли она по Египту и Лхасе в мужском наряде? Сражалась ли за Гарибальди и была почти убита, откопали среди трупов? Правда ли, что два раза корабли, на которых она плыла, тонули, а болела ли она, была ли на грани смерти и потом чудесным образом исцелялась вообще бесчисленное количество раз? «В истории моей жизни есть несколько страниц, о которых я никогда не говорю. Я скорее умру, чем раскрою их тайну, но не потому, что я их стыжусь, а потому что для меня они слишком священны». ОК.

Лучшими адвокатами тут будут, пожалуй, люди, которые одобряли, интересовались и поддерживали Блаватскую. Далай-лама и Оскар Уайльд, например. Да, но первому могло импонировать то, как Е.П. защищала духовность и народы Востока, была просто-таки, как сейчас говорят, послом и амбассадором их интересов на Западе, второй же был падок на все модное, слегка декадентное и сомнительное. Да, до правды, кажется, мы не докопаемся уже никогда...

Может быть, поможет психологический портрет Блаватской? Ее ученики и просто близкие любят вспоминать о ее полнейшей бескорыстности и альтруизме

¹ Самая, как утверждается, подробная биография Блаватской на сегодняшний день, к тому же использующая некоторые недавно открытые документы и даже лично раздобытые автором.

(отдала первой встречной билет в первый класс и в результате пересекала Атлантику в зловонии и антисанитарии третьего, другой просящей вместо денег уступила свой бизнес, которым иногда занималась, как тот же Гурджиев), наивности, заразительном смехе. Еще, кстати, все вспоминают, как, настоящая эмансипе, постоянно курила. И свою огромную, буквально усыпанную цитатами и ссылками «Тайную доктрину» писала почти без книг, не писала даже, а записывала, а нужные источники материализовывала в астральном теле (источники потом проверили даже по библиотеке Ватикана, все вроде бы было процитировано потрясающе точно и корректно). Но, смотря со стороны, больше всего сходства находишь у нее — с безумным и безумно свободным Блейком (плюс это или минус к правдивости ее образа и учений, судить можно опять же двояко¹). Знатнейшего рода, отдаленный потомок Рюриковичей (как западный автор это описывает, конечно, немного забавно и клюквенно), родственница Витте, она имела в своей и некоторую долю крови гугенотов — как и диссентеры Блейка, те «всегда были против», по заветам Егора Летова. Воспитанная более чем в христианской традиции и от христианства как бы не отрекавшаяся, Е.П. имела с ним, как опять же Блейк, довольно сложные отношения (это, конечно, понятно — оба в узкой догматике и традиционности никак уместиться не могли). Оба уже в раннем детстве начали наблюдать видения (Е.П. некоего защитника, он даже уберег ее от пары могущих быть фатальными детских падений, мальчика Блейка сёк отец за вранье, что тот видел ангелов в кронах деревьев). Блейк отказался пойти в школу, Е.П., еще совсем юницей, отказывалась выходить замуж. Когда выдали, то несколько раз сбежала, пока, наконец, не вырвалась на свободу в свои бесконечные странствия по Европе, Ближнему Востоку и АТР. Сначала даже не писала родным, но, скорее всего, просто достигла некоего компромисса и договоренности — деньги-то отец ей высылал, переписка возобновилась, после Индии и обеих Америк в Россию она один раз возвратилась. Есть, конечно, пересечения и в учениях, как не быть — например, в «Тайной доктрине» она излагает свою историю мира и человечества, а в «Изиде» вторит тройному поцелую Блейка:

«1. Чудес нет. Все, что происходит, есть результат закона — вечного, нерушимого, всегда действующего.

2. Природа триедина: существует видимая, объективная природа; невидимая, заключенная внутри, сообщающая энергию природа, точная модель первой и ее жизненный принцип; и над этими двумя — дух, источник всех сил, один только вечный и неразрушимый. Две низшие силы постоянно изменяются; третья, высшая, не изменяется.

3. Человек тоже триедин: он имеет объективное, физическое тело; оживляющее астральное тело (или душу), действительный человек; и над этими двумя витает и озаряет их третий — повелитель, бессмертный дух. Когда действительному человеку удастся слиться с последним — он становится бессмертной сущностью.

4. Магия, как наука, представляет собою знание этих принципов и способа, посредством которого всезнание и всемогущество духа и его власть над силами природы могут быть приобретены человеком, пока он все еще находится в теле. Магия, как искусство, есть применение этого знания на практике».

Про озарения человека и науку, сиречь про рецепцию отдельных идей Блаватской и теософии в целом — самый густой и интересный раздел книги, даже по сравнению

¹ Существует и увязанная на Блейке характеристика Е.П. — от американской суфражистки, феминистки и аболиционистки Мэри Эштон Ливермор: «Я периодически слышу о том, что кто-то “не любит ее” или ей завидует. С тем же успехом можно не любить Мраморы Элгина или завидовать Сфинксу. У нее был светлый, легкий дух, как у Уильяма Блейка, который в глубокой старости, после стольких лет лишений и неблагодарности сказал маленькой девочке: “Моя дорогая, я могу лишь надеяться, что твоя жизнь будет такой же прекрасной и счастливой, как моя”». Сфинксом Блаватскую называли еще и за позу на самом известном ее фотоизображении.

с полуголодной жизнью в США, культами индейцев Южной Америки и прорывами в Лхасу из Индии. Так, кто бы мог подумать и ждать, что цитатам из Е.П. найдутся соответствие той или иной степени совпадения в теории ДНК, атомной физике (Эйнштейн, кстати, как и Эдисон, был ее верным читателем¹), астрофизике и даже палеонейрологии? Опять же, при желании, совпадения можно обнаружить везде. Но личность Блаватской и теория теософии, кроме сиюминутного эффекта взрыва, аукнулась, кажется, действительно много где. Например, теософия способствовала литературному возрождению в Ирландии — не только потому, что общество теософов было буквально единственным более или менее свободным объединением в весьма религиозной и довольно ригидной по тем временам стране, но и потому, в частности, что Джойс, по свидетельству его главного биографа Элмана, приходил к Джорджу Расселу и пытал его о теософии, а убежденным теософом был и Йейтс. Отсылки к теософским теориям автор находит у Элиота и Джека Лондона, Клее и Гогена, а Мондриан², в каком бы городе ни оборудовал свою мастерскую, вешал в ней на видном месте огромный портрет Блаватской. Если эти имена относятся к тому же *Zeitgeist*'у, то стоит, возможно, вспомнить, что уже в нашем эоне книги Блаватской ревностно штудировал и даже зачитывал со сцены Элвис Пресли.

Что же касается первоначального вопроса, тайным визионером была Е.П.Блаватская или очень умелой авантюристкой, — возможно, она была просто третьим, другой, *out of step*, как сказали бы в стране ее второго гражданства США и стране ее смерти Англии (прах же ее развеян на трех континентах, включая Индию³), не вписывающимся в свою эпоху, опережающим ее персонажем. «Ее отличали не знания, она сама была другой. Иностранка в чужой стране — русская аристократка свободных взглядов среди скованных, закоснелых представителей среднего класса в викторианской Англии и Америке, которые не чувствовали разницы между обликом и сущностью. <...> Даже когда эти люди отвернулись от нее, называя мошенницей, шарлатанкой, плагиатором, бессовестной женщиной, — даже тогда они втайне знали, что она отдала им свою жизнь, силы, вдохновение, воображение и намерение. Даже враги, сами того не желая, признавали ее величие и могущество»⁴.

¹ В книге «Квантовые вопросы: мистические сочинения великих физиков мира» (под редакцией Кена Уилберта, 1984) представлен с заявленной точки зрения анализ трудов Гейзенберга, Шредингера, Эйнштейна, Бройля, Джинса, Планка, Паули и Эддингтона — «в каждом из которых выражается глубокое убеждение в том, что физика и мистика — близнецы». Появилось и такое понятие, как квантовый мистицизм.

² Мондриану принадлежит также фраза, что он почерпнул все, что ему было необходимо, из «Тайной доктрины». О роли Блаватской в его творчестве и творчестве Кандинского см.: *Ross A. Wagnerism: Art and Politics in the Shadow of Music*. London: 4-th Estate, 2021. С. 369—370.

³ Об истории его захоронения см.: <http://www.delphis.ru/journal/article/istoriya-prakha-erblavatskoi>

⁴ Или, как написал мне один очень умный человек в частной переписке в ответ на мои сомнения в моральных, учительских и прочих качествах Блаватской: «А вы знаете, она действительно была мошенницей! Она сразу и ясно видела, кто идет вверх или имеет на то шанс, и с ним она говорила метаязыком (языком символов — ужас, совсем засаленное слово, имею в виду, что слова-то обычные, только в них вложен совсем другой невербализуемый смысл), и тот понимал, что не эти слова что-то значат, а то невысказываемое и совершенно другое — то, что упрятано за этими словами. Другие, и очень умные, и очень знаменитые, и очень образованные, воспринимали эти слова так, как будто Елена действительно имеет в виду то, что она говорит — махатмы, шамбалы, расы... — и разоблачали это, не подозревая, что разоблачают свой перстный разум. Генон особенно ярко её разоблачал, — что поделаешь, ревность... А когда Елене надо было зарабатывать деньги для продолжения работы по постижению, она не моргнув глазом дурачила дураков медиумизмом, пророчеством и прочим мошенничеством. Пусть платят — раз самим им нет нужды взбираться вверх, то пусть финансируют работу тех, кого сверху зовут вверх. Она, кстати, даже фамилию смело, нахально и по-наглому стащила у мужа, от которого смылась через три месяца после свадьбы вместе с фамилией, — она, восемнадцатилетняя, чуяла, что для будущего Блаватская подойдет лучше, чем фон Ган. Скончалась от гриппа или от covid-19... выполнила всё и вернулась домой. Когда-то кто-то напишет книгу Глаза Блаватской, у землян-то таких глаз не бывает».

Главная же заслуга Блаватской, уже на мой взгляд, была в том, что она приоткрыла те «двери восприятия», о которых писал Блейк, хотя бы заставив западных людей с любопытством рассматривать в щелочку достижения восточной неэциентической, внерациональной (как посмотреть, просто эта наука — другая) мысли¹. Словами Уолта Андерсона, на Западе «космос в основном исследуют с помощью циклотронов, лазеров и телескопов», в то время как восточная наука «по большей части является нетехнологической и полагается на аппарат дисциплинированного человеческого тела и ума»². Достижения же Востока в итоге сейчас мало кто будет оспаривать не только в трудно верифицируемой духовности, но и на практике³.

Русский дазайн в помощь

Александр ДУГИН. Мартин Хайдеггер: возможности русской философии. — М.: Академический проект, 2021. 380 с.

Книга о русской философии, центрированная на мысли Хайдеггера⁴, это весьма неожиданно, хотя вписывается в компаративистику и неожиданные повороты мышления А.Дугина. Дальше посыл еще более неожиданный — «русской философии не существует и возможность ее возникновения блокирована дисгармоничным сочетанием европейского модерна с архаическими пластами русского народного мировоззрения». Опять же может и шокировать, если не вспомнить о существовании некоторых стран и целых регионов «без философии» — если тот же Запад давно и прочно захватил мировую философию, то что мы знаем о современной японской философии? Киотская школа и буддизм. Про Китай, Корею и весь регион ЮВА и АТР — ничего, за весь глобальный Юг один Реза Негарестани с «Циклопедией» отдувается. Так как в последнее время Дугин занят своим проектом «Ноомахия» про цивилизационные особенности различных регионов, то как раз такие перекосы и попадают в центр его внимания. Как, кстати, и цитирует Дугин очень географически широкий круг имен: латиноамериканских, ливанских и японских философов. Но можно ли сравнить их по общей степени известности/цитируемости/переводимости с той же французской философской школой? И это возвращает нас к теме книги.

Так что же случилось с отечественной философией — продуктом далеко не «экспортным», это признают даже самые убежденные патриоты, но на полках точно имеющимся: славянофилы и западники, серебряновечная религиозная философия,

¹ Особенно в контексте того времени призыв этот можно было бы в пределе объединить с идеей Третьего Завета Мережковского.

² Александр Дугин в книге, о которой мы сейчас поговорим, приводит любопытную нюансировку от французского социолога Луи Дюмона, доказывавшего, что «индийская культура и философия основаны на индивидуализме и негативной оценке имманентной социальности не в меньшей, если не в большей степени, нежели современная западная либеральная буржуазная культура или западно-христианская религия, но делает она это совершенно иным способом и приходит к совершенно иным формам — аскеза, отрешенность, созерцательность, погружение в себя, йога и т.д.»

³ Две из трех ведущих экономик мира — восточные (Китай и Япония), Китай занимает второе место в мире по количеству зарегистрированных патентов, Индия лидирует в области IT и фармы, оказавшихся наиболее востребованными в последние пандемийные годы, и так далее, примеры можно множить.

⁴ В этом смысле книга является продолжением его труда «Мартин Хайдеггер: философия другого Начала» (2010).

космисты, коммунистическая философия и (их автор вообще не упоминает, непонятно, почему) тот потрясающий расцвет философии в позднесоветские времена, феномен которого еще нужно изучать (Бибихин¹, Хоружий, Аверинцев, Гачев, Налимов, Горичева, Гиренок, Мартынов, Джемаль, Мамардашвили, Пятигорский, Семёнова и другие).

Российская философия, утверждает автор, была «всю дорогу» занята или развитием каких-то совсем уж локальных, местечковых идей, или же, в гораздо большей степени, слепо и даже раболепно следовала за западной мыслью, вообще возникла как реакция на нее. Посему «вопрос о возможности русской философии вполне легитимен. <...> Если русская философия как таковая есть, то она существенно повреждена исторически и требует реанимации. Если вместо нее мы имеем дело с бледным изначальным мерцанием, с наброском, то тем более необходимо обратиться к ее предпосылкам, к области ее возможности».

Делает это Дугин через отрицание — для начала не оставляя камня на камне от всей отечественной философской мысли. Похоже на стеб, на самом деле — деконструкция. Так, скажем, психопатические черты находятся у таких непохожих авторов, как Владимир Соловьёв и Николай Фёдоров, а уравниваются они — как бастарды с чертами смердяковщины — «Соловьёв проделал путь “из грязи в князи” (изначально из крестьянского сословия), а Фёдоров, «наоборот, рухнул “из князей в грязь”». И если у Соловьёва² с его экуменистическими призывами к объединению церкви и якобы принятием католичества тлетворное влияние Запада найти не столь уж сложно, то обнаруживает его Дугин и у такого уж совсем русского, архирусского философа как Фёдоров: «Н.Фёдоров незаметно для себя самого соскальзывает в дискурс западного модерна, начинает рассуждать о прогрессе, о ценности музея³ и развитии техники, о возможности управлять погодой и строить совершенные автоматы».

Разбирая так — и с массой любопытных, хотя и едких, наблюдений — наших философов от Данилевского до Розанова, Дугин находит главную беду, которую называет — археомодерн: «ситуацию, когда социальная модернизация осуществляется не естественно и органично, накапливая предпосылки в глубине общественных процессов, но навязывается сверху волевым образом, причем за модель модернизации берутся социо-культурные и социо-политически образцы, скопированные с обществ с совершенно иными историей, типом, находящихся в других фазах своего развития». Здесь можно было бы возразить, что модернизация никогда, «снизу» и «изнутри» в том числе, не бывает процессом совсем уж безболезненным. Можно было бы также не изобретать новый термин, а, уже коли Восток находится в сфере внимания автора, привлечь термин «ускоренная модернизация» — как описывалось схожее явление в восточных странах, позже и опять же под влиянием Запада, ставших на путь реформ.

¹ Отсутствие этого имени в книге особенно странно, если принять во внимание перевод «Бытия и времени» и философствование Другого начала. Возможно, сказался личный разлад между ними.

² По касательной от Соловьёва достается и Блаватской: «Экзальтированность и наивность этих поисков подчас заходила так далеко, что философ одно время был готов принять за “воплощение Софии” авантюристическую оккультистку и шарлатанку Елену Петровну Блаватскую, являющуюся одновременно агентом влияния российских спецслужб». Сыну генерала ГРУ виднее.

³ Роль музея в «деле воскрешения отцов» у Фёдорова все же другая, см. мою рецензию на книгу Б.Гройса «Русский космизм»: Чанцев А. Принцип всеединого музея // Новый мир. 2016. № 2 (https://magazines.gorky.media/novyi_mi/2016/2/princip-vseedinogo-muzeya-boris-grojs-russkij-kosmizm.html).

Общая концепция в целом понятна, когда на сцену выходит его величество Хайдеггер. Почему именно он? Как утверждает Дугин, «никто кроме него». Хайдеггер не только написал более или менее масштабную историю всей предыдущей философской мысли, но и создал цельную философию конца времен и грядущего Другого начала. Главное же, его наработки вроде *Dasein* и остальных можно применить в процессе выпочкивания философии русской. «Хайдеггер уверен, что Западу надо начинать сначала: по-новому и совершенно иначе, нежели в первый раз. Нам, русским, надо просто начинать: не по-новому и не по-старому, а впервые. Это фундаментальная и качественная разница. Нам надо начинать по-русски и на основе русского дазайна».

Посвятив условно вторую часть книги разговору о Хайдеггере, Дугин — обычное дело в риторике, но не столь частое в сюжетах книг — возвращается к разобранным в первой части философам и находит в них уже положительные черты, то, что говорится ими оригинального и на благо дела. В дело может пойти многое — от наработок Гуссерля до религиозной философии Флоренского и Булгакова и даже исихазма¹. И даже у «либерала» Чаадаева, которому влетело по первое число на первых страницах, находится довольно толковых наблюдений. Дугин — возможно, в следующей книге? — не пишет манифест, он лишь говорит о возможностях и путях развития оригинальной философской мысли так, как ему это видится. «В то же время, для того чтобы достичь ядра русского начала (русского ноэзиса, русского жизненного мира), требуется лишь преодолеть брезгливость и вернуться от гипноза археомодерна. В остальном же это ядро лежит на поверхности: чтобы его увидеть, надо просто вывезти за пределы русской культуры западнический хлам, “токсичные отходы” западноевропейской культуры, которыми три столетия засорили Россию».

Звучит полемично, но это лишь отдельная цитата. По большей части, Дугин находится именно глубоко в философских вопросах. А они опять же вызывают к отказу от следования в фарватере западной мысли, по истоптанным чужими маршрутами лесным дорожкам. Тем более что и философия эта — во многом философия конца: «...Ницше не только не является альтернативой, но представляет собой подлинный и состоявшийся Конец — Конец западноевропейской философии и, соответственно, конец философии как таковой. Так, вместе с Гегелем и Ницше западноевропейская философия проходит полный цикл от первого (великого) Начала через средний (средневековый, в широком смысле) период до Начала Конца у Декарта и к полному и необратимому Концу у Гегеля, и особенно у Ницше. <...> Но в этом, по Хайдеггеру, и состоит судьба Запада как “страны Вечера” (*Abendland*). Убывание бытия есть удел Запада и смысл истории философии как сугубо западного явления. Дезонтологизация, сокрытие бытия и наступление нигилистической ночи не случайность и не катастрофа, и даже не следствие ошибки — это высказывание философской географии. Свет гаснет там и тогда, когда это нужно».

Несмотря на пафос констатации, но не призыва, намеки на него есть. Они находятся опять же в довольно неожиданных местах. У Клюева и Розанова. Действительно, последний звучит крайне манифестарно, особенно в контексте состоявшегося разговора: «Россия — страна, где все соскочило со своей оси. И пытаются вскочить на чужую ось, иногда — на несколько чужих осей. И расквашивают нос, и делают нашу бедную Россию безобразной и несчастной. <...> Вот что, русский человек: вращайся около своей оси».

¹ Еще раз удивимся отсутствию имен Библихина и Хоружего, посвятивших Паламе, нетварному свету и прочим концептам исихазма многие страницы.

Ради только этого призыва не стоило бы городить целую книгу — или стоило. В любом случае, разговор у Дугина получается крайне широкий, с глубоким и оригинальным обсуждением массы вещей, от, по сути, всей истории философии, до леших, каббалы и неоплатоников. Широк и интонационный регистр, как у настоящих философов, он варьируется от крайне научного разговора до афоризмов («русское начало не началось», «авось — доверие к бытию», Хайдеггер — «грядущий смысл прошедшего», «история философии есть история катастроф» и т.п.) и поэзии в прозе, почти летовского камлания («они и есть дым; они суть дух. Русские люди пусты. Как люди. А как русские прозрачны»).

Ольга Балла

Человек прояснённый

Глеб ШУЛЬПЯКОВ. Белый человек: избранные стихотворения. — М.: Время, 2021. — 160 с. — (Поэтическая библиотека)

Выбрав для нового сборника стихи из всех своих предыдущих книг, от «Щелчка» 2001 года до «Самети» 2017-го, от каждой понемногу (из них же каждая, как помнит внимательный читатель, — самостоятельное интонационное целое), да присовокупив несколько стихотворений за 2017—2020-й, ни в какие интонационные единства пока не вошедших, — Глеб Шутьпяков представил собственную поэтическую эволюцию за два десятилетия. Сам ли, руками ли составителя — в качестве составителя сборника указан Дмитрий Тонконогов, — в любом случае перед нами в той или иной степени авторский выбор, а значит, и автопортрет, и самоанализ. Выбранное же призвано демонстрировать существенные точки пройденной траектории и её направление.

Скажем сразу, что существенных переломов эта траектория не претерпела; тут следовало бы, скорее, говорить о постепенном, неуклонном движении и накоплении качеств.

Одной из очевидных сторон этого развития надо признать набиравание автором самостоятельности, свободы не только от явно воспроизводимых влияний, но и от потребностей в иных видах опор вроде аллюзий, цитирований разной степени полноты, диалогов и споров с традицией(-ями), да хоть упоминания имён предшественников; выработку собственного голоса и манеры этим голосом говорить.

В тексте, открывающем сборник (из «Щелчка» — «...с чёрного хода в литературу»), состоящем в значительной степени из чужих коротких, квазидialogических реплик, выданных из родимых контекстов, гула и бормота массового анонимного сознания, невозможно не усмотреть отсылку к (классическому уже тогда) «Представлению» Бродского.

...«Взял себе в жёны какую-то дуру». —
«Да, но с глазами любовницы Кафки».

Выучил русский только за то, что
«драли буксиры басы у причала».
«Где-то читал, но не помню, где точно».
Вспомнил под утро, покуда светало.

(Читатель немедленно вспоминает:

«А почём та радиола?»
«Кто такой Савонарола?»
«Вероятно, сокращенье».
«Где сортир, прошу прощенья?».)

Тот же приём, осложнённый аллюзиями на классические тексты, повторяется во втором стихотворении книги:

Вот и всё. «Эй, в ушанке» — «Вы мне?» —
«Передай за проезд!»
«Остановка “Аптека”». — «Фонарь...» — «А ещё в очках...»

<...>

Квартет Шостаковича, № 13. Поставить на «тах».
«В такую погоду...» — «Да что вы опять о погоде!»
Я предлагаю за женщин, за дружбу, за нас!»
«И за гражданские астры в родном переходе».

В более поздних книгах Шульпякова многоголосость уступает место почти исключительному монологу (хотя ситуации *недиалогичности* будут ещё иногда повторяться, — например, в поэме «Мураново»).

Следов усвоенных влияний у молодого Шульпякова не так много (кроме упомянутого Бродского — кто ещё? Немного Гандлевского, совсем чуть-чуть Арсения Тарковского...) и преодолеваются они, вместе с самой потребностью в них, довольно скоро. Что же до аллюзий и цитирований, они, в самом начале книги подчёркнуто-обильные, вскоре быстро сходят практически на нет.

Тут хочется вспомнить известное противопоставление «поэзии» и «литературы», практикуемое, например, Юрием Казариным; вряд ли эта оппозиция из шульпяковского лексикона, но она тут напрашивается. Если начальные тексты книги отчётливо погружены в гущу и толщу литературы и литературности, её внутренних связей и переключек, то чем дальше и позже — тем всё более поэзия, чистое, жёсткое её вещество. Освобождение от земных сует. Очистка и возгонка.

«Ранний» Шульпяков соблазняется многословностью. «Зрелый» — начиная с «Писем Якубу» (2012), — сдержан до скуповатости, до аскетичности. На самых первых страницах — живопись, размашистой лохматой кистью, с вниманием к краскам, к бытовым и вообще чувственным подробностям:

Между тем стемнело, стало больше горящих окон,
абжуры на кухнях: красные, зелёные, голубые.
Разливая чай, женщина придерживает локон
и беззвучно шевелит губами: пироги остыли.

<...>

...За коробкой пустырь, его долго обходят с фланга,
словно красе-антоний-алкивиад-перикл,
гаражи, бытовки, ангары, и торчат как флаги
голубятни, продолжая обход, а точнее — цикл.

Всего десятилетие спустя — чёрно-белая графика, почти чертежи. Ничего лишнего, — настолько, что кажется нарочитым упрощением. Даже без заглавных букв — чтобы не повышать тон и на графическом уровне тоже.

ворона прыгает с одной
тяжёлой ветки на другую —
здесь что-то кончилось со мной,
а я живу и в ус не дую,
небытия сухой снежок
ещё сдувая вместо пыли —
так по ночам стучит движок,
который вырубить забыли

Никаких преувеличений — и суждения притом безутешно жёсткие. И никакого надрыва по поводу этой безутешности — прямой взгляд ей в лицо, трезвая ясность.

Всего-навсего за десять лет автор проделал путь от (во многом внешней) сложности, литературности, умышленности и витиеватости — к сложности внутренней. От густой кудрявой бороды культурных ассоциаций — к (обескураживающей, дезориентирующей — «сложное понятней им») прямоте высказывания. Многоречивый вначале, он становится поэтом чистого одиночества и тишины.

Что остаётся на протяжении всех этих почти двадцати лет неизменным? Прежде всего (и это не случайно и не поверхностно), то, что Шульпяков неизменно педантично внимателен к форме, к выстраиванию текстов, — и это относится не только к регулярной силлабо-тонике, заметно преобладающей над верлибрами, но и к более сложным, неочевидным ритмическим построениям, какова, например, поэма «Мураново» — на полпути между регулярным стихом и верлибром, у каждой строки которой — свой размер). Вследствие того стихи его могут производить — вне всяких сомнений, намеренно — впечатление холодноватых и рассудочных. Холодноватость, конечно, принципиальна, да и рассудочность тоже («есть что сдерживать», как по другому поводу сказал другой поэт), всё это — инструменты. Видимая бесстрастность Шульпякова-поэта никоим образом не означает равнодушия, свидетельство чему — высокое напряжение практически каждой строки.

Тем более что Шульпяков все эти годы неизменно остается хроникёром-аналитиком; он, несомненно, поэт-наблюдатель и поэт-мыслитель одновременно. Эти две позиции неразделимы до (почти?) тождества; последняя же, особенно из-за плавно, но неуклонно нарастающей с годами сдержанности, в глаза как будто не бросается. Впрочем, он, кажется, всё более нарочно так устраивает, чтобы в глаза не бросалось вообще ничего: имеющий намерение и готовность увидеть — увидит. Свои тексты Шульпяков конструирует как приборы — измерительные ли, регистрирующие, оптические, — настраивая каждый на, казалось бы, конкретную, выбранную для наблюдения ситуацию — и поднимая каждую из таких ситуаций до формулы. Холодноватость при этом совершенно необходима — чтобы приборы не перегревались и позволяли всё видеть ясно (предпочитаемые поэтом регулярные размеры как раз способствуют точности настройки). Он создаёт и выдерживает дистанцию — важнейшее условие наблюдения.

Только если в начале своей поэтической работы Шульпяков был наблюдателем, скорее, социальным, то чем далее, тем больше его поэтическое зрение концентрируется на самих структурах существования, на метафизике его, которую человек способен только угадывать и по отношению к которой всякая физика вторична, условна, а по некоторому большому счёту — необязательна. Она нужна только для того, чтобы сквозь неё чувствовалось неназываемое, раз уж (пока?) не получается иначе.

человек остаётся с самим собой —
постепенно дымок над его трубой
поднимается ровным, густым столбом,
но — перед тем как выйти с пустым ведром,
чтобы элементарно набрать воды,
человек зажигает в деревне свет,
развешивает облака, расставляет лес,
а потом устраивает метель или гром
(в зависимости от времени года) —
в сущности, этот человек с ведром
просто переходит из одного дома в другой —
и остаётся собой

«В каждом поэте, — гласит аннотация к сборнику, наверняка писанная рукою самого автора, — живут “чёрный человек” и “белый человек”, и только один из них

пишет стихи». Скорее всего, они пишут их попеременно, передавая перо друг другу. В случае Шульпякова «белый» человек (человек ясного понимания, трезвого видения, — аполлонический) всё чаще перенимал перо у «чёрного» (человека темноты), пока не завладел им окончательно. (Но кстати: очень похоже на то, что ни с одним из этих — химически чистых — персонажей автор не отождествляется; существенное условие его собственной поэтической речи — непринадлежность, внеположность точки наблюдения чему бы то ни было:

— а я ни с этим и ни с тем
по коридору между стен
среди пробелов и длиннот
туда, где чёрный выход, ход

Во всяком случае, «белый» человек — это человек прояснённый. Автор и его тоже наблюдает извне.)

В случае Шульпякова прояснённость не устраняет ни таинственности мира, ни принципиально неполной постижимости его для человека — она, скорее, подчёркивает их. Особенность Шульпякова-поэта — в том, что он, не теряя ни рациональности, ни отчётливости видения, сохраняет понимание таинственности мира, удерживает чувство этой таинственности. Он постоянно чувствует то, что стоит за наблюдаемыми декорациями повседневных обстоятельств, — не дерзая претендовать на понимание или хоть угадывание его природы. Ему, метафизику-апофатику, достаточно указать на это.

гуляет синий огонёк
в аллее дачного квартала —
не близок он и не далёк,
горит неярко, вполнекала
как маячок среди стропил
того, кто прошлой ночью эти
на землю сосны опустил
и звёзды по небу разметил —
стучит его больной мелок,
летит в небесное корыто;
он — это маленький глазок
за дверь, которая закрыта

Его рациональность знает свой шесток, за пределы которого не высовывается — потому что прекрасно чувствует то, неизмеримо её превосходящее, что простирается за этими пределами.

Борис Минаев

И вечная «оттепель»

Я шел на спектакль в «Современник», испытывая смешанные чувства: жгучее любопытство, с одной стороны, и некоторую грусть, с другой. Что там теперь, в этом родном здании на бульваре?

...Ну невозможно же, например, представить себе, что какой-нибудь известный писатель N вдруг умрет, а новые книги будут под его фамилией писать совсем другие люди?

Чем в этом смысле отличается театр? Понятно, что это дело коллективное, общее, национальное, так сказать, достояние, и это был вовсе не «Театр Галины Волчек на Чистых прудах», а театр «Современник», и все же, все же...

И все же есть в этом что-то неправильное, знаете, и вот я шел по заснеженному бульвару и думал. На мой взгляд, из всей знаменитой триады 1960-х: «Ленком — Современник — Таганка» — театр Волчек держался дольше всего. Если Таганка взорвалась и раскололась практически сразу после возвращения Любимова, если из «Ленкома» главные лица уходили медленно и мучительно, по одному, то здесь... Здесь удивительным образом те, кто выходил на сцену и в 1960-е, и в 1970-е годы, не просто оставались в строю — на них многое держалось. Я прекрасно помню в спектаклях 2000-х годов и Гафта, и Квашу, и Неёлову, и Ахеджакову, и многих других, и это были вовсе не тени прошлого, это были гиганты, дававшие странное ощущение связи времен, на них-то многие и ходили.

И дело не только в «зрительском успехе», да, в любые годы сюда было сложно попасть, и не только в количестве разнообразных премьер, и не в разнообразном — от восторга до язвительности — внимании критики. Я прекрасно понимал, что «Современник» двадцати последних лет (который мне, собственно, достался как бы «по наследству») — лишь послесловие к чему-то большому, к какой-то эпической истории, но и послесловие казалось мощным.

Из черного, как бы уходящего в темную пропасть зрительного зала, со сцены всегда исподволь — этой тайной прежних лет «Современника» — театра «вопреки всему», театра вечного протеста, театра внутреннего сопротивления. Сопротивления — и вопросов, сильно связанных с этим сопротивлением. Так было здесь всегда, хотя Борис Ельцин после отставки ходил практически на все премьеры, а Владимир Путин пришел на «Горе от ума» Римаса Туминаса и спросил, почему Чацкий все время плачет. Театр по-прежнему сохранял заряд того исторического «Современника». Эта трещина в человеке, который сопротивляется судьбе, этот надлом могучей воли, эта страсть — никуда не делись и в наши дни.

Словом, я ждал «трибьюта» (посвящения) тому, старому «Современнику», а увидел спектакль-концерт студентов Школы-студии МХАТ. Ждал страстных монологов «о времени и о себе», а получил плейлист классических песен советского радио: «Тополя, тополя, в город мой влюблённые, на пути деревца, деревца зелёные», «Не слышны в саду даже шорохи, всё здесь замерло до утра», «За рекой, за лесом солнышко садится, что-то мне, подружки, дома не сидится» и «А я иду, шагаю по Москве» — отсылают нас, конечно, скорее к Эдуарду Хиллю, а не к Геннадию Шпаликову и не к Никите Михалкову. И таких песен не менее десятка, советское радио, официальная эстрада, Людмила Зыкина, Владимир Трошин, ансамбль «Орэра», Ольга Воронец... И звучало это «радио» 24 часа в сутки из всех радиоточек, от Бреста до Кушки и Владивостока, в любом колхозе, на любом рыболовецком траулере. И это всё?

Одна песня из репертуара «Битлз» и одна из репертуара сестер Бэрри положения как-то не спасают. Сюрприз грозил оказаться неприятным. И при чем же тут «Рифмы, меняющие мир»?

На сцене участники спектакля, несколько ребят в темных костюмах и белых рубашках, за их спинами большой экран, на котором очень приглушенно мелькают кадры того времени: люди идут по улице, едут в общественном транспорте, ждут друг друга у метро, — дежурные «перебивки» документального экрана тех советских лет, когда за кадром диктор говорит какие-то правильные слова. Москва шестидесятых, обычные улицы и обычные лица, но порой на экране возникают и знаковые моменты: великая встреча Гагарина, Хрущёв кулаком грозит мировому империализму и гнилой интеллигенции...

Ну и самое главное — в эту же «хронику» вставлены кадры раннего, молодого «Современника»: первое помещение на площади Маяковского, Кваша, Табаков, Ефремов, Евстигнеев на читке или худсовете.

Ребята — замечательные. Поют — отлично, раскладывая каждую мелодию на красивое многоголосие.

Но какой образ времени они пытаются создать, что пытаются сказать: это было время бесконечной советской романтики, наивной прекрасной веры в будущее, в то, что «мы живем в самой прекрасной стране мира», что она и есть — это будущее? Тогда при чем тут «Современник»? И при чем тут «оттепель»?

Листаю воспоминания Олега Табакова «Моя настоящая жизнь» и натываюсь на такие строки: «В “Матросской тишине” я играл две маленькие роли...

Я помню всеобщее ощущение беды, беспомощности, когда запретили этот спектакль. Состоялись две генеральные репетиции. Они не были общественными просмотрами, потому что публичное исполнение *этой* пьесы считалось невозможным. В зале были странные островки людей, близких театру, друзей. И две растерянные женщины — Соловьёва из горкома партии и Соколова из отдела культуры ЦК. Спектакль-то рождался талантливый. Евстигнеев играл Абрама Шварца замечательно. А они плакали и не знали, что делать со своими слезами. Ну нельзя им было допустить такое количество евреев на один квадратный метр сцены. Формулировку, которой можно было остановить этот крейсер “Аврора”, надвигавшийся на чиновников и готовый вот-вот дать залп, подсказал, как ни странно, один весьма знаменитый режиссер из Ленинграда. Мысль его была такова: пьеса так хороша, так совершенна, а ребята так молоды, так неопытны... Пройдет два-три года, они наберутся опыта, поднатворят и сыграют все то же самое наилучшим образом... Вот под этим “желе-компотом” и был закрыт спектакль. Были всякие разговоры, но все больше в пользу бедных».

С этого, напомним, начинался «Современник», это самые первые его шаги (тем знаменитым режиссером из Ленинграда, кстати, был Георгий Товстоногов).

«Ко времени постановки “Голого короля” в шестидесятом году “Современник” подошел к возможному закрытию театра». Дальше Табаков пишет о том, в чем могла быть причина этого закрытия: «Игорь Кваша очень смешно играл Первого министра. Зрители изнемогали от того, что близких, дорогих нашему сердцу и ненавистных нам идиотов-начальников так секут публично. Просто было ощущение, что с каждого начальника, который приходил на этот спектакль, снимались штаны — и розгами, розгами... И все это было звонко, и смешно, и попы у них краснели под ликование народа, глядевшего на эту “казнь”».

«Оттепель» театра «Современник» — это, мягко говоря, совсем не «Подмосковные вечера», не ласковый нежный романтический флер, не вера в то, что люди были цельные, хорошие, творили добро и верили в мечту.

Я совершенно не претендую на то, чтобы учить режиссеров спектакля, как им следует понимать конец 50-х и начало 60-х, эпоху, когда рождался «Современник»: возможно, что они правы и общее, разлитое в воздухе ощущение счастья, праздника, веры в будущее, — это и есть главный лейтмотив. Пусть так.

Но я точно знаю, что спектакли «Современника» были совсем про другое и что для артистов, режиссеров театра главным сюжетом была их бесконечная борьба — за свое понимание искусства, свободы, правды. Борьба с чиновниками, с глобальным «цензурным комитетом», который по-разному назывался и который постоянно стоял у них на пути.

...Бывает так, что ты идешь после спектакля и долго мучительно разговариваешь сам с собой. Пытаешься уловить смысл, который от тебя ускользнул. Вглядываешься в себя, в свое сегодняшнее настроение — почему оно не совпало с общим настроением зрительного зала? Анализируешь смыслы, оставшиеся для тебя скрытыми. Это тоже ценные моменты, и не стоит от них отмахиваться.

Во время исполнения одной из песен в спектакле двое молодых актеров выходят в зал, скользят глазами по рядам, выхватывают немолодых женщин, приглашают их танцевать. Сажу рядом с проходом, слышу разговор танцующих: мол, вы такие молодые, откуда у вас такая любовь к этим старым советским песням? — ответ: да, мы эти песни знаем и сами слушаем, сами поем.

На финальной песне ребята показывают, что надо включить фонарик на телефоне и, раскачиваясь, «зажигать» вместе с нами. Зал старательно качает фонариками. Опять красиво.

Но... Но, думаю я, у зрителей старого «Современника» эти самые «фонарики» были внутри, когда они вскакивали со своих мест, аплодировали и в них горел этот внутренний свет.

Опять другая культура.

Но я продолжаю разговор с самим собой и продолжаю разматывать скрытые смыслы. Этот спектакль, конечно, никакая не новинка. Первую «Оттепель» сыграли молодые актеры школы-студии МХАТ еще несколько лет назад, на мхатовской сцене. Там были немного другие песни и немного другие стихи. В московском губернском театре (то есть бывшем областном) идет сейчас спектакль «Кафе “Луч”» — тоже песни и стихи шестидесятников, имитация «оттепели», имитация тех поэтических кафе и сейшенов. Это — практически театральный жанр, родившийся после известного сериала.

И понятно ведь, почему он родился: хоть так, хоть слабым намеком, пусть даже утопленным в советской ностальгии, дать понять, что оттепель лучше заморозков, что весна сменяет политическую зиму, что надежда всегда есть.

Виктор Рыжаков, новый худрук «Современника», на прежнем своем месте работы — в театральном Центре имени Вс.Мейерхольда — открывал двери театру экспериментальному, радикальному, острому, чего стоит «Конармия» Бабеля, пластическая и поэтическая фантазмагория режиссера Диденко, разыгранная брусникинцами, или поэтические перфомансы Андрея Родионова. Казалось, что тут, на Новослободской, в Центре Мейерхольда, возможно, буквально все, театр буквально взрывался от новаций, и так происходило год за годом.

И вот — «Подмосковные вечера».

И тут я понимаю, почему студенческий спектакль, показанный в «Современнике», такой. Почему здесь нет тех противоречий и углов эпохи, страстей и борьбы, из которых и состояла реальная «оттепель». Почему здесь нет ни сатиры, ни юмора. Ни Окуджавы, ни Галича, ни Кима. Почему здесь нет даже действительно знаковых песен, визитных карточек того времени: песен про целину, например, или песни Войновича про космос: «У нас ещё до старта четырнадцать минут». Почему из всего Высоцкого выбраны две не самые главные песни: «Я поля влюблённым постелю» из кинофильма «Стрелы Робин Гуда» и «Корабли постоят» с пластинки фирмы «Мелодия» (то есть разрешенный, «залитованный» Высоцкий). Почему, в конце концов, кадры рождения «Современника» погружены в такой контекст — сугубо романтический, ностальгически-возвышенный, почему эта ностальгия о каком-то другом, сказочном времени, о другой жизни (неважно даже, как она понимается, главное, что «другая») — здесь становится главной нотой. Здесь, в этом спектакле.

Охотно верю, что ребята сами находили, выбирали эти песни, сами их изучали, находили ключ к исполнению — это их выбор, это их представление о советской жизни.

Но важно другое: в чем основная идея Рыжакова. А она состоит в том, что это — окончательное прощание со старым «Современником». И не просто с «Современником», а со всеми комплексами старого шестидесятничества. Со всеми этими зудящими целыми десятилетиями вопросами: можно или нельзя было вступать в партию? хороший или плохой Хрущёв (Горбачёв, Ельцин)? нужно ли было стоять у Белого дома в 1991-м? Сахаров или Солженицын? Бродский или Евтушенко? почему победили большевики и избавится ли когда-нибудь наш бедный народ от вечного страха перед начальством?.. Ну сколько, сколько же можно, невозможно же бесконечно множить эти сущности, отвечать на эти вопросы, вгрызаться в эти фамилии...

Художественный руководитель нового «Современника» предлагает обратиться к главному уроку «оттепели»: его делали совсем молодые люди, по сегодняшним меркам — дети практически. Именно поэтому они разорвали пуповину, которая связывала их с тогдашней культурой, тогдашним театром. Будучи благодарны своим учителям, они сделали нечто невообразимое. Невозможное.

Именно такое поколение нужно выпустить на сцену и сейчас — и дать им возможность сделать что-то совсем другое.

Именно поэтому мы погружаем «Оттепель» театра «Современник» — в такой абстрактный, нейтральный, абсолютно приглушенный флер времени. Это веночек, ленточка на могиле, простите уж мне эти слова. Прежде чем создавать новый театр, нужно создать музей старого. Бережно создать, нежно создать. Всех вспомнить, всех отметить. Но. Той «оттепели» больше нет, невозможно о ней дальше спорить,

невозможно ею дальше жить. Невозможно поднимать старые темы и отвечать на старые вопросы. Нужно идти дальше.

Ну, что ж...

Я с удовольствием принимаю эту версию. Да, может быть, и так. Возможно, единственное спасение сегодняшней культуры, да и в целом окружающей нас реальности — эти ребята, которые ничего не знают и помнят только то, что была когда-то «какая-то другая жизнь». Пусть начнут с чистого листа. Пусть сделают первый шаг. Пусть пойдут.

Вот только куда?

Summary

Bolot SHIRIBAZAROV. Precious

Everybody in this novel is dreaming of happiness but everybody has his own idea of it. Alexei is a half-blood, neither Russian nor Buryat, alien everywhere, cared by nobody, in search of his way he comes to a datsan where not only Buddhist practices but also the working life of the obedient and their complicated relations with the mentors open to him. A strange boy Sayan tells him about the Land of Happiness with the Lake in its very heart that gives immortality. He got it known from the only person who came back from that Land. It was not an ordinary man, it was he whom the gods named Precious.

Poetry

Family sagas, family relationships – these are exciting and popular topics of both prose and poetry.

Katya KAPOVICH is meditating on the woman's importance in the family. Alexei KOMAREVTSEV from St. Petersburg is dipping into the subject of the family everyday life. Grigorij KNYAZEV'S query is – his ancestors, “the poem of his family”. For Nataliya ELIZAROVA Russia in the whole is her family and her sweet home.

Dan DALTMAN. Fighting Again Now in America

“As if the country has gone crazy and for the amusement of all authoritarian regimes of the world is beating itself up, fighting with the monuments, covering its history with spittle, announcing that it is infected with the structural and institutional racism” – thus is the observation of the author, journalist and political commentator living in the USA, over some tendencies in today's social life of the country.

Evgenij ABDULLAEV. One-and-a-Half-Winged Bird

“First we were surprised that somebody still buys the books of modern poetry. Then – that the bookshops still take them for sale. Now only one astonishment is left: that poetical collections are still being published. And quite a lot of them”. For his annual review the author has chosen nine collections issued in 2021 and convincingly proves to unbelievers that poetry is alive and thus alive is the hope that the books will find their readers and the bird Poetry by name will soar.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Москва, ул. Тверская, 17, вход с Малеого Гнездниковского переулка)

«Бункер» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин Лабиринт.ру в любом городе страны.

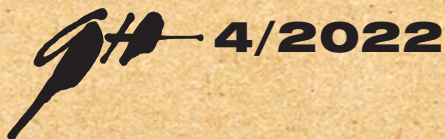
Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЪЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ,
СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



Читайте:

**Александр Васькин.
«Возможно, мне дадут Госпремию»:
Советские писатели в очереди за наградами**

«Абрамов в письме к одному из адресатов назвал премиальную компанию "омерзительной", написав: "Надежд на получение премии у меня мало (увы, ее далеко не всегда дают за литературу)". Предчувствие не обмануло. Десятого ноября 1969 года он отметил: "Премии не дали. Это надо было ожидать. Макогоненко по этому поводу прочитал мне целую лекцию. С чего дадут очернителю, автору «Нового мира»? Да ведь это — признать правильность линии журнала, оправдать его. А кроме того, не забывай: премии — это бизнес... Я сказал Макогоненко: дескать, речь не обо мне. А вот почему старику Ч. не дали? Почему его обошли? Да и разве дело это — не заметить русской литературы за год? Макогоненко засмеялся и посоветовал родиться чукчей или киргизом. Только не русским...»»